Сергей
ЕСЕНИН

Сергей ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ

Том 2

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА
СТАТЬИ ПИСЬМА

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1991
«СОВРЕМЕННИК»

Р2
Е82

Составление и комментарий Ю. Л. ПРОКУШЕВА

Художник Б. А. ЛАВРОВ

Е $\frac{4702010202-014}{М\text{-}105(03)91}$ подп. 91

ISBN 5—268—00099—3
ISBN 5—268—01153—7 (т. 2)

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ ПОЭТОМ

ПОЭТ

Он бледен. Мыслит страшный путь
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.

⟨1910– 1912⟩

НОЧЬ

Усталый день склонился к ночи,
Затихла шумная волна,
Погасло солнце, и над миром
Плывет задумчиво луна.
Долина тихая внимает
Журчанью мирного ручья.
И темный лес, склоняясь, дремлет
Под звуки песни соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река.
И тихо слышится над нею
Веселый шелест тростника.

⟨1910—1912⟩

ЗВЕЗДЫ

Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?

Частые звездочки, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?

И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете
Звезды небесные, звезды далекие!

1911

ВОСПОМИНАНИЕ

За окном у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
Юность вспоминает

«Эх, была-де пора,
Жил, тоски не зная,
Лишь кутил да гулял,
Песни распевая.

А теперь что за жизнь?
В тоске изнываю
И порой о тех днях
С грустью вспоминаю.

Погулял на веку,
Говорят, довольно.
Размахнуть старину
Не дают раздолья.

Полно, дескать, старик,
Не дури ты много,
Твой конец не велик,
Жизнь твоя у гроба.

Ну и что ж, покорюсь,—
Видно, моя доля.
Придет им тоже час
Старческого горя».

За окном, у ворот
Вьюга завывает,
А на печке старик
С грустью засыпает.

1911—1912

МОЯ ЖИЗНЬ

Будто жизнь на страданья моя обречёна,
Горе вместе с тоской заградили мне путь,
Будто с радостью жизнь навсегда разлучёна,
От тоски и от ран истомилася грудь.

Будто в жизни мне выпал страданья удел,
Незавидная мне в жизни выпала доля.
Уж и так в жизни много всего я терпел,
Изнывает душа от тоски и от горя.

Даль туманная радость и счастье сулит,
А дойду — только слышатся вздохи да слезы,
Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит
И разрушит волшебные, сладкие грезы.

Догадался и понял я жизни обман,
Не ропщу на свою незавидную долю.
Не страдает душа от тоски и от ран,
Не поможет никто ни страданьям, ни горю

1911 – 1912

ЧТО ПРОШЛО — НЕ ВЕРНУТЬ

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей!

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: «Вернись, подожди».
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло — не вернуть никогда.

1911—1912

НОЧЬ

Тихо дремлет река.
Темный бор не шумит.
Соловей не поет,
И дергач не кричит.

Ночь. Вокруг тишина.
Ручеек лишь журчит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.

Ночь. Вокруг тишина.
В природе все спит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

1911—1912

ВОСХОД СОЛНЦА

Загорелась зорька красная
В небе темно-голубом,
Полоса явилась ясная
В своем блеске золотом.

Лучи солнышка высоко
Отразили в небе свет.
И рассыпались далеко
От них новые в ответ.

Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
Расстилаются вокруг.

1911—1912

ЗИМА

Вот уж осень улетела,
И примчалася зима.
Как на крыльях, прилетела
Невидимо вдруг она.

Вот морозы затрещали
И сковали все пруды.
И мальчишки закричали
Ей «спасибо» за труды.

Вот появилися узоры
На стеклах дивной красоты.
Все устремили свои взоры,
Глядя на это. С высоты

Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой.
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.

1911 1912

ПЕСНЯ СТАРИКА РАЗБОЙНИКА

Угасла молодость моя,
Краса в лице завяла,
И удали уж прежней нет,
И силы — не бывало.

Бывало, пятерых сшибал
Я с ног своей дубиной,
Теперь же хил и стар я стал
И плачуся судьбиной.

Бывало, песни распевал
С утра до темной ночи,
Теперь тоска меня сосет
И грусть мне сердце точит.

Когда-то я ведь был удал,
Разбойничал и грабил,
Теперь же хил и стар я стал,
Все прежнее оставил.

1911 1912

ДУМЫ

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы от счастия вечно далекие,
Спутники жизни моей невеселые!

Думы — родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы — источники слез огорчения,
Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомленную,
Что заграждаете путь вы мне мой?
Что возбуждаете силу сломленную
Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
Думы больные, без жизни, холодные!

⟨1912⟩

ЗВУКИ ПЕЧАЛИ

Скучные песни, грустные звуки,
Дайте свободно вздохнуть.
Вы мне приносите тяжкие муки,
Больно терзаете грудь.

Дайте отрады, дайте покоя,
Дайте мне крепко заснуть.
Думы за думами смутного роя,
Вы мне разбили мой путь.

Смолкните, звуки — вестники горя,
Слезы уж льются из глаз.
Пусть успокоится горькая доля,
Звуки! Мне грустно от вас.

Звуки печали, скорбные звуки,
Долго ль меня вам томить?
Скоро ли кончатся тяжкие муки,
Скоро ль спокойно мне жить?

⟨1912⟩

СЛЕЗЫ

Слезы... опять эти горькие слезы,
Безотрадная грусть и печаль;
Снова мрак... и разбитые грезы
Унеслись в бесконечную даль.

Что же дальше? Опять эти муки?
Нет, довольно... Пора отдохнуть
И забыть эти грустные звуки,
Уж и так истомилася грудь.

Кто поет там под сенью березы?
Звуки будто знакомые мне —
Это слезы опять... Это слезы
И тоска по родной стороне.

Но ведь я же на родине милой,
А в слезах истомил свою грудь.
Эх... лишь, видно, в холодной могиле
Я забыться могу и заснуть.

⟨1912⟩

* * *

Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.

Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.

Но сквозь сумрак в туманной дали
Загорается, вижу, заря —
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.

⟨1912⟩

ВЬЮГА НА 26 АПРЕЛЯ 1912 г

Что тебе надобно, вьюга,
Ты у окна завываешь,
Сердце больное тревожишь,
Грусть и печаль вызываешь.

Прочь уходи поскорее,
Дай мне забыться немного,
Или не слышишь — я плачу,
Каюсь в грехах перед богом.

Дай мне с горячей молитвой
Слиться душою и силой,
Весь я истратился духом,
Скоро сокроюсь могилой.

Пой ты тогда надо мною,
Только сейчас удалися,
Или за грешную душу
Вместе со мной помолися.

⟨1912⟩

ПРЕБЫВАНИЕ В ШКОЛЕ

Душно мне в этих холодных стенах
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах
Вот она, доля поэта.

Видно, навек осужден я влачить
Эти судьбы приговоры,
Горькие слезы безропотно лить,
Ими томить свои взоры.

Нет, уже лучше тогда поскорей
Пусть я уйду до могилы,
Только там я могу, и лишь в ней,
Залечить все разбитые силы.

Только там я могу отдохнуть,
Позабыть эти тяжкие муки,
Только лишь там не волнуется грудь
И не слышны печальные звуки.

⟨1912⟩

ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Далеко-далеко от меня
Кто-то весело песню поет.
И хотел бы провто́рить ей я,
Да разбитая грудь не дает.

Тщетно рвется душа до нее,
Ищет звуков подобных в груди,
Потому что вся сила моя
Истощилась еще впереди.

Слишком рано я начал летать
За мечтой идеала земли,
Рано начал на счастье роптать,
Разбираясь в прожитой дали.

Рано пылкой душою своей
Я искал себе мрачного дня
И теперь не могу вторить ей,
Потому что нет сил у меня.

1912⟩

МОИ МЕЧТЫ

Мои мечты стремятся вдаль
Где слышны вопли и рыданья,
Чужую разделить печаль
И муки тяжкого страданья

Я там могу найти себе
Отраду в жизни, упоенье,
И там, наперекор судьбе.
Искать я буду вдохновенья

‹1912›

БРАТУ ЧЕЛОВЕКУ

Тяжело и прискорбно мне видеть,
Как мой брат погибает родной.
И стараюсь я всех ненавидеть,
Кто враждует с его тишиной.

Посмотри, как он трудится в поле,
Пашет твердую землю сохой
И послушай ты песни про горе,
Что поет он, идя бороздой.

Или нет в тебе жалости нежной
Ко страдальцу сохи с бороной?
Видишь гибель ты сам неизбежной
А проходишь его стороной.

Помоги же бороться с неволей,
Залитою вином, и с нуждой!
Иль не слышишь, он плачется долей
В своей песне, идя бороздой?

⟨1912⟩

* * *

Я зажег свой костер,
Пламя вспыхнуло вдруг
И широкой волной
Разлилося вокруг

И рассыпалась мгла
В беспредельную даль
С отягченной груди
Отгоняя печаль.

Безнадежная грусть
В тихом треске углей
У костра моего
Стала песней моей

И я весело так
На костер свой смотрел
Вспоминаючи грусть,
Тихо песню запел

Я опять подо мглой
Мой костер догорел,
В нем лишь пепел с золой
От углей уцелел.

Снова грусть и тоска
Мою грудь облегли,
И печалью слегка
Веет вновь издали

Чую — будет гроза,
Грудь заныла сильней,
И скатилась слеза
На остаток углей.

⟨1912⟩

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИЗБЕНКА

Ветхая избенка
Горя и забот,
Часто плачет вьюга
У твоих ворот.

Часто раздаются
За твоей стеной
Жалобы на бедность,
Песни звук глухой.

Всё поют про горе,
Про тяжелый гнет,
Про нужду лихую
И голодный год.

Нет веселых песен
Во стенах твоих,
Потому что горе
Заглушает их.
⟨1912⟩

ОТОЙДИ ОТ ОКНА

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею —
Отойди и не мучай меня.

⟨1912⟩

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые.
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.

Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.

⟨1912⟩

* * *

И надо мной звезда горит,
Но тускло светится в тумане.
И мне широкий путь лежит,
Но он заросший весь в бурьяне

И мне весь свет улыбки шлет,
Но только полные презренья,
И мне судьба привет несет,
Но слезы вместо утешенья.

⟨1912⟩

ПОЭТ

Горячо любимому другу
Грише

Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда мать,
Кто людей, как братьев, любит
И готов за них страдать.
Он все сделает свободно,
Что другие не могли.
Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

⟨1912⟩

* * *

Грустно.. Душевные муки
Сердце терзают и рвут.
Времени скучные звуки
Мне и вздохнуть не дают
Ляжешь, а горькая дума
Так и не сходит с ума..
Голову кружит от шума
Как же мне быть и сама
Моя изнывает душа
Нет утешенья ни в ком
Ходишь едва-то дыша
Мрачно и дико кругом
Доля, зачем ты дана!
Голову негде склонить.
Жизнь и горька и бедна.
Тяжко без счастия жить

⟨1913⟩

БЕРЕЗА

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

‹1913›

ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

⟨1914⟩

СЕЛО

(Из Тараса Шевченко)

Село! В душе моей покой.
Село в Украйне дорогой,
И, полный сказок и чудес,
Кругом села зеленый лес.
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
И перед крашеным окном
В шелковых листьях тополя,
А там всё лес, и всё поля,
И степь, и горы за Днепром.
И в небе темно голубом
Сам бог витает над селом

1914)

* * *

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

⟨1914⟩

КУЗНЕЦ

Душно в кузнице угрюмой,
И тяжел несносный жар,
И от визга и от шума
В голове стоит угар.
К наковальне наклоняясь,
Машут руки кузнеца,
Сетью красной рассыпаясь,
Вьются искры у лица.
Взор отважный и суровый
Блещет радугой огней,
Словно взмах орла, готовый
Унестись за даль морей...
Куй, кузнец, рази ударом,
Пусть с лица струится пот.
Зажигай сердца пожаром,
Прочь от горя и невзгод!
Закали свои порывы,
Преврати порывы в сталь
И лети мечтой игривой
Ты в заоблачную даль.
Там вдали, за черной тучей,
За порогом хмурых дней,
Реет солнца блеск могучий
Над равнинами полей.
Тонут пастбища и нивы
В голубом сиянье дня,
И над пашнею счастливо
Созревают зеленя.
Взвейся к солнцу с новой силой,
Загорись в его лучах.
Прочь от робости постылой,
Сбрось скорей постыдный страх.
. . . .

⟨1914⟩

С ДОБРЫМ УТРОМ!

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

⟨1914⟩

МОЛИТВА МАТЕРИ

На краю деревни старая избушка,
Там перед иконой молится старушка.

Молитва старушки сына поминает,
Сын в краю далеком родину спасает.

Молится старушка, утирает слезы,
А в глазах усталых расцветают грезы.

Видит она поле, поле перед боем,
Где лежит убитым сын ее героем.

На груди широкой брызжет кровь, что пламя,
А в руках застывших вражеское знамя.

И от счастья с горем вся она застыла,
Голову седую на руки склонила.

И закрыли брови редкие сединки,
А из глаз, как бисер, сыплются слезинки

⟨1914⟩

БОГАТЫРСКИЙ ПОСВИСТ

Грянул гром. Чашка неба расколота.
Разорвалися тучи тесные.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небесные.
Отворили ангелы окно высокое,
Видят — умирает тучка безглавая,
А с запада, как лента широкая,
Подымается заря кровавая.
Догадалися слуги божии,
Что недаром земля просыпается,
Видно, мол, немцы негожие
Войной на мужика подымаются.
Сказали ангелы солнышку:
«Разбуди поди мужика, красное,
Потрепи его за головушку,
Дескать, беда для тебя опасная».
Встал мужик, из ковша умывается,
Ласково беседует с домашней птицею,
Умывшись, в лапти наряжается
И достает сошники с палицею.
Думает мужик дорогой в кузницу:
«Проучу я харю поганую».
И на ходу со злобы тужится,
Скидает с плечей сермягу рваную.
Сделал кузнец мужику пику вострую,
И уселся мужик на клячу брыкучую.
Едет он дорогой пестрою,
Насвистывает песню могучую,
Выбирает мужик дорожку приметнее,
Едет, свистит, ухмыляется,
Видят немцы — задрожали дубы столетние,
На дубах от свиста листы валятся.
Побросали немцы шапки медные,
Испугались посвисту богатырского...
Правит Русь праздники победные,
Гудит земля от звона монастырского.

⟨1914⟩

СИРОТКА

(Русская сказка)

Маша — круглая сиротка.
Плохо, плохо Маше жить,
Злая мачеха сердито
Без вины ее бранит.

Неродимая сестрица
Маше места не дает,
Плачет Маша втихомолку
И украдкой слезы льет.

Не перечит Маша брани,
Не теряет дерзких слов,
А коварная сестрица
Отбивает женихов.

Злая мачеха у Маши
Отняла ее наряд,
Ходит Маша без наряда,
И ребята не глядят.

Ходит Маша в сарафане,
Сарафан весь из заплат,
А на мачехиной дочке
Бусы с серьгами гремят.

Сшила Маша на подачки
Сарафан себе другой
И на голову надела
Полушалок голубой.

Хочет Маша понарядней
В церковь божию ходить
И у мачехи сердитой
Просит бусы ей купить.

Злая мачеха на Машу
Засучила рукава,
На устах у бедной Маши
Так и замерли слова.

Вышла Маша, зарыдала,
Только некуда идти,
Побежала б на кладбище,
Да могилки не найти.

Замела седая вьюга
Поле снежным полотном,
По дороженькам ухабы,
И сугробы под окном.

Вышла Маша на крылечко,
Стало больно ей невмочь.
А кругом лишь воет ветер,
А кругом лишь только ночь.

Плачет Маша у крылечка,
Притаившись за углом,
И заплаканные глазки
Утирает рукавом.

Плачет Маша, крепнет стужа.
Злится дедушка-мороз,
А из глаз ее, как жемчуг,
Вытекают капли слез.

Вышел месяц из-за тучек,
Ярким светом заиграл.
Видит Маша — на приступке
Кто-то бисер разметал.

От нечаянного счастья
Маша глазки подняла
И застывшими руками
Крупный жемчуг собрала.

Только Маша за колечко
Отворяет дверь рукой, —
А с высокого сугроба
К ней бежит старик седой:

«Эй, красавица, постой-ка,
Замела совсем пурга!
Где-то здесь вот на крылечке
Позабыл я жемчуга».

Маша с тайною тревогой
Робко глазки подняла
И сказала, запинаясь:
«Я их в фартук собрала».

И из фартука стыдливо,
Заслонив рукой лицо,
Маша высыпала жемчуг
На обмерзшее крыльцо.

«Стой, дитя, не сыпь, не надо,—
Говорит старик седой,—
Это бисер ведь на бусы,
Это жемчуг, Маша, твой».

Маша с радости смеется,
Закраснелася, стоит,
А старик, склонясь над нею,
Так ей нежно говорит:

«О дитя, я видел, видел,
Сколько слез ты пролила
И как мачеха лихая
Из избы тебя гнала..

А в избе твоя сестрица
Любовалася собой
И, расчесывая косы,
Хохотала над тобой.

Ты рыдала у крылечка,
А кругом мела пурга,
Я в награду твои слезы
Заморозил в жемчуга.

За тебя, моя родная,
Стало больно мне невмочь
И озлобленным дыханьем
Застудил я мать и дочь.

Вот и вся моя награда
За твои потоки слез...
Я ведь, Маша, очень добрый,
Я ведь дедушка-мороз».

И исчез мороз трескучий...
Маша жемчуг собрала
И, прислушиваясь к вьюге,
Постояла и ушла.

Утром Маша рано-рано
Шла могилушку копать,
В это время царедворцы
Шли красавицу искать.

Приказал король им строго
Обойти свою страну
И красавицу собою
Отыскать себе жену.

Увидали они Машу,
Стали Маше говорить,
Только Маша порешила
Прежде мертвых схоронить.

Тихо справили поминки,
На душе утихла боль,
И на Маше, на сиротке,
Повенчался сам король.

⟨1914⟩

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В этот лес завороженный,
По пушинкам серебра,
Я с винтовкой заряженной
На охоту шел вчера.
По дорожке чистой, гладкой
Я прошел, не наследил...
Кто ж катался здесь украдкой?
Кто здесь падал и ходил?
Подойду, взгляну поближе:
Хрупкий снег изломан весь.
Здесь вот когти, дальше — лыжи...
Кто-то странный бегал здесь.
Кабы твердо знал я тайну
Заколдованным речам,
Я узнал бы хоть случайно,
Кто здесь бродит по ночам.
Из-за елки бы высокой
Подсмотрел я на кругу:
Кто глубокий след далекий
Оставляет на снегу?..

⟨1914⟩

УЗОРЫ

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы.

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна.

⟨1914⟩

БЕЛЬГИЯ

Побеждена, но не рабыня,
Стоишь ты гордо без доспех,
Осквернена твоя святыня,
Зато душа чиста, как снег.
Кровавый пир в дыму пожара
Устроил грозный сатана,
И под мечом его удара
Разбита храбрая страна.
Но дух свободный, дух могучий
Великих сил не угасил,
Он, как орел, парит за тучей
Над цепью доблестных могил.
И жребий правды совершится:
Падет твой враг к твоим ногам
И будет с горестью молиться
Твоим разбитым алтарям.

⟨1914⟩

ЯМЩИК

За ухабины степные
Мчусь я лентой пустырей.
Эй вы, соколы родные,
Выносите поскорей!

Низкорослая слободка
В повечерешнем дыму.
Заждалась меня красотка
В чародейном терему.

Светит в темень позолотой
Размалевана дуга.
Ой вы, санки-самолеты,
Пуховитые снега!

Звоны резки, звоны гулки,
Бубенцам в шлее не счет.
А как гаркну на проулке,
Выбегает весь народ.

Выйдут парни, выйдут девки
Славить зимни вечера,
Голосатые запевки
Не смолкают до утра.

⟨1914⟩

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди,
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте крячет цапля;
Четко хлюпает вода,
А из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звездой поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница в небеса.

⟨1913—1914?⟩

БУРЯ

Дрогнули листочки, закачались клены,
С золотистых веток полетела пыль...
Зашумели ветры, охнул лес зеленый,
Зашептался с эхом высохший ковыль..

Плачет у окошка пасмурная буря,
Понагнулись ветлы к мутному стеклу,
И качают ветки, голову понуря,
И с тоской угрюмой смотрят в полумглу

А вдали, чернея, выползают тучи,
И ревет сердито грозная река,
Подымают брызги водяные кручи,
Словно мечет землю сильная рука.

⟨1914—1915?⟩

* * *

Ты ушла и ко мне не вернешься,
Позабыла ты мой уголок,
И теперь ты другому смеешься,
Укрываяся в белый платок.

Мне тоскливо, и скучно, и жалко,
Неуютно камин мой горит,
Но измятая в книжке фиалка
Все о счастье былом говорит.

⟨1914—1915?⟩

ЛЕБЕДУШКА

Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блестки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шептался.

В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли темных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебедушка.

Позади ватагой стройною
Подвигались лебежатушки,
И дробилась гладь зеркальная
На колечки изумрудные.

И от той ли тихой заводи,
Посередь того ли озера,
Пролегла струя далекая
Лентой темной и широкою.

Уплывала лебедь белая
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому
Прилегла трава шелковая.

У побережья зеленого,
Наклонив головки нежные,
Перешептывались лилии
С ручейками тихозвонными.

Как и стала звать лебедушка
Своих малых лебежатушек
Погулять на луг пестреющий,
Пощипать траву душистую.

Выходили лебежатушки
Теребить траву-муравушку,
И росинки серебристые,
Словно жемчуг, осыпалися.

А кругом цветы лазоревы
Распускали волны пряные
И, как гости чужедальние,
Улыбались дню веселому.

И гуляли детки малые
По раздолью по широкому,
А лебедка белоснежная,
Не спуская глаз, дозорила.

Пролетал ли коршун рощею,
Иль змея ползла равниною,
Гоготала лебедь белая,
Созывая малых детушек.

Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское,
И когда гроза скрывалася,
Снова бегали-резвилися.

Но не чуяла лебедушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча черная —

Молодой орел под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную.

Видел он у леса темного,
На пригорке у расщелины,
Как змея на солнце выползла
И свилась в колечко, грелася.

И хотел орел со злобою
Как стрела на землю кинуться,
Но змея его заметила
И под кочку притаилася.

Взмахом крыл своих под облаком
Он расправил когти острые
И, добычу поджидаючи,
Замер в воздухе распластанный.

Но глаза его орлиные
Разглядели степь далекую,
И у озера широкого
Он увидел лебедь белую.

Грозный взмах крыла могучего
Отогнал седое облако,
И орел, как точка черная,
Стал к земле спускаться кольцами.

В это время лебедь белая
Оглянула гладь зеркальную
И на небе отражавшемся
Увидала крылья длинные.

Встрепенулася лебедушка,
Закричала лебежатушкам,
Собралися детки малые
И под крылья схоронилися.

А орел, взмахнувши крыльями,
Как стрела на землю кинулся,
И впилися когти острые
Прямо в шею лебединую.

Распустила крылья белые
Белоснежная лебедушка
И ногами помертвелыми
Оттолкнула малых детушек.

Побежали детки к озеру,
Понеслись в густые заросли,
А из глаз родимой матери
Покатились слезы горькие.

А орел когтями острыми
Раздирал ей тело нежное,
И летели перья белые,
Словно брызги, во все стороны.

Колыхалось тихо озеро,
Камыши, склонясь, шепталися,
А под кочками зелеными
Хоронились лебежатушки.

⟨1914 – 1915?⟩

КОРОЛЕВА

Пряный вечер. Гаснут зори.
По траве ползет туман,
У плетня на косогоре
Забелел твой сарафан.

В чарах звездного напева
Обомлели тополя.
Знаю, ждешь ты, королева,
Молодого короля.

Коромыслом серп двурогий
Плавно по небу скользит.
Там, за рощей, по дороге
Раздается звон копыт.

Скачет всадник загорелый,
Крепко держит повода.
Увезет тебя он смело
В чужедальни города.

Пряный вечер. Гаснут зори.
Слышен четкий храп коня.
Ах, постой на косогоре
Королевой у плетня.

⟨1914—1915?⟩

УДАЛЕЦ

Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне.

Не ревите, мать и тетка,
Слезы сушат удальца.
Подарила мне красотка
Два серебряных кольца.

Эх, достану я ей пикой
Душегрейку на меху,
Пусть от радости великой
Ходит ночью к жениху

Ты гори, моя зарница,
Не страшён мне вражий стан.
Зацелует баловница,
Как куплю ей сарафан.

Отчего вам хныкать, бабы.
Домекнуться не могу.
Али руки эти слабы,
Что пешню согнут в дугу

Буду весел я до гроба,
Удалая голова.
Провожай меня, зазноба,
Да держи свои слова.

⟨*1915*⟩

СОНЕТ

Я плакал на заре, когда померкли дали,
Когда стелила ночь росистую постель,
И с шепотом волны рыданья замирали,
И где-то вдалеке им вторила свирель.

Сказала мне волна: «Напрасно мы тоскуем»,—
И, сбросив свой покров, зарылась в берега,
А бледный серп луны холодным поцелуем
С улыбкой застудил мне слезы в жемчуга.

И я принес тебе, царевне ясноокой,
Кораллы слез моих печали одинокой
И нежную вуаль из пенности волны

Но сердце хмельное любви моей не радо.
Отдай же мне за все, чего тебе не надо,
Отдай мне поцелуй за поцелуй луны.

⟨1915⟩

ЧАРЫ

В цветах любви весна-царевна
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И золотое ожерелье
Блестит в косматых волосах.
А вслед ей пьяная русалка
Росою плещет на луну.
И я, как страстная фиалка,
Хочу любить, любить весну.

⟨1915⟩

ЧЕРЕМУХА

Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.
Кругом роса медвяная
Сползает по коре,
Под нею зелень пряная
Сияет в серебре.
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
А зелень золотистая
На солнышке горит.
Ручей волной гремучею
Все ветки обдает
И вкрадчиво под кручею
Ей песенки поет.

⟨1915⟩

* * *

О дитя, я долго плакал над судьбой твоей,
С каждой ночью я тоскую все сильней, сильней...

Знаю, знаю, скоро, скоро, на закате дня,
Понесут с могильным пеньем хоронить меня...

Ты увидишь из окошка белый саван мой,
И сожмется твое сердце от тоски немой...

О дитя, я долго плакал с тайной теплых слов,
И застыли мои слезы в бисер жемчугов...

И связал я ожерелье для тебя из них,
Ты надень его на шею в память дней моих!

‹1915›

ПОБИРУШКА

Плачет девочка-малютка у окна больших хором,
А в хоромах смех веселый так и льется серебром
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз,
И ручонкою иззябшей вытирает капли слез.

Со слезами она просит хлеба черствого кусок,
От обиды и волненья замирает голосок.
Но в хоромах этот голос заглушает шум утех,
И стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех

⟨1915⟩

ГРЕЦИЯ

Могучий Ахиллес громил твердыни Трои.
Блистательный Патрокл сраженный умирал.
А Гектор меч о траву вытирал
И сыпал на врага цветущие левкои.

Над прахом горестно слетались с плачем сои,
И лунный серп сеть туник прорывал.
Усталый Ахиллес на землю припадал,
Он нес убитого в родимые покои.

Ах, Греция! мечта души моей!
Ты сказка нежная, но я к тебе нежней,
Нежней, чем к Гектору, герою, Андромаха.

Возьми свой меч. Будь Сербии сестрою.
Напомни миру сгибнувшую Трою,
И для вандалов пусть чернеют меч и плаха.

⟨1915⟩

ПОЛЬША

Над Польшей облако кровавое повисло.
И капли красные сжигают города.
Но светит в зареве былых веков звезда
Под розовой волной, вздымаясь. плачет Висла

В кольце времен с одним оттенком смысла
К весам войны подходят все года.
И победителю за стяг его труда
Сам враг кладет цветы на чашки коромысла

О Польша, светлый сон в сырой тюрьме Костюшки.
Невольница в осколках ореола,
Я вижу: твой Мицкевич заряжает пушки

Ты мощною рукой сеть плена распорола
Пускай горят родных краев опушки,
Но слышен звон побед к молебствию костела

‹1915›

СТАРУХИ

Под окном балякают старухи.
Вязлый хрип их крошит тишину.
С чурбака, как скатный бисер, мухи
Улетают к лесу-шушуну.
Смотрят бабки в черные дубровы,
Где сверкают гашники зарниц,
Подтыкают пестрые поневы
И таращат веки без ресниц.
«Быть дождю,— решают в пересуде,-
Небо в куреве, как хмаровая близь
Ведь недаром нонче на посуде
Появилась квасливая слизь,
Не зазря прокисло по махоткам
В погребах парное молоко
И не так гагачится молодкам,
Видно, дыхать бедным нелегко»
Говорят старухи о пророке,
Что на небе гонит лошадей,
А кругом в дымнистой заволоке
Веет сырью звонистых дождей.

1915〉

ГОРОД

Храня завет родных поверий —
Питать к греху стыдливый страх,
Бродил я в каменной пещере,
Как искушаемый монах.
Как муравьи кишели люди
Из щелей выдолбленных глыб,
И, схилясь, двигались их груди,
Что чешуя скорузлых рыб.
В моей душе так было гулко
В пеленках камня и кремней.
На каждой ленте переулка
Стонал коровий рев теней.
Дризжали дроги, словно стекла,
В лицо кнутом грозила даль,
А небо хмурилось и блекло,
Как бабья сношенная шаль.
С улыбкой змейного грешенья
Девичий смех меня манул,
Но я хранил завет крещенья —
Плевать с молитвой в сатану.
Как об ножи стальной дорогой
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от бога:
«Забудь, что видел, и беги!»

⟨1915⟩

ДЕВИЧНИК

Я надену красное монисто,
Сарафан запетлю синей рюшкой.
Позовите, девки, гармониста,
Попрощайтесь с ласковой подружкой.

Мой жених. угрюмый и ревнивый,
Не велит заглядывать на парней.
Буду петь я птахой сиротливой,
Вы ж пляшите дробней и угарней.

Как печальны девичьи потери,
Грустно жить оплаканной невесте.
Уведет жених меня за двери,
Будет спрашивать о девической чести.

Ах, подружки, стыдно и неловко:
Сердце робкое охватывает стужа.
Тяжело беседовать с золовкой,
Лучше жить несчастной, да без мужа

1915⟩

* * *

На лазоревые ткани
Пролил пальцы багрянец.
В темной роще, на поляне.
Плачет смехом бубенец.

Затуманились лощины,
Серебром покрылся мох
Через прясла и овины
Кажет месяц белый рог

По дороге лихо, бойко,
Развевая пенный пот,
Скачет бешеная тройка
На поселок в хоровод.

Смотрят девушки лукаво
На красавца сквозь плетень
Парень бравый, кучерявый
Ломит шапку набекрень.

Ярче розовой рубахи
Зори вешние горят.
Позолоченные бляхи
С бубенцами говорят

⟨1915⟩

* * *

Я странник убогий.
С вечерней звездой
Пою я о боге
Касаткой степной.

На шелковом блюде
Опада осин,
Послухайте, люди,
Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,
Целуя сосну,
Поют быстровины
Про рай и весну.

Я, странник убогий,
Молюсь в синеву.
На палой дороге
Ложуся в траву.

Покоюся сладко
Меж росновых бус;
На сердце лампадка,
А в сердце Исус.

⟨1915⟩

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идем, бредем домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идет.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовет.
Сказки все. Пора в постели...
Но а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело,—
Говори да говори.

⟨1915⟩

ПЛЯСУНЬЯ

Ты играй, гармонь, под трензель,
Отсыпай, плясунья, дробь!
На платке краснеет вензель,
Знай прищелкивай, не робь!

Парень бравый, синеглазый
Загляделся не на смех.
Веселы твои проказы,
Зарукавник — словно снег.

Улыбаются старушки,
Приседают старики.
Смотрят с завистью подружки
На шелковы косники.

Веселись, пляши угарней,
Развевай кайму фаты.
Завтра вечером от парней
Придут свахи и сваты.

⟨1915⟩

* * *

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся — далекая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.
Цветет болотная купель,
Куга зовет к вечерне длительной,
И по кустам звенит капель
Росы холодной и целительной
И хоть сгоняет твой туман
Поток ветров, крылато дующих,
Но вся ты — смирна и ливан
Волхвов, потайственно волхвующих.

⟨1915⟩

* * *

Занеслися залетною пташкой
Панихидные вести к нам.
Родина, черная монашка,
Читает псалмы по сынам.

Красные нити часослова
Кровью окропили слова.
Я знаю,— ты умереть готова,
Но смерть твоя будет жива.

В церквушке за тихой обедней
Выну за тебя просфору,
Помолюся за вздох последний
И слезу со щеки утру.

А ты из светлого рая,
В ризах белее дня,
Покрестися, как умирая,
За то, что не любила меня.

⟨1915⟩

КОЛДУНЬЯ

Косы растрепаны, страшная, белая,
Бегает, бегает, резвая, смелая.
Темная ночь молчаливо пугается,
Шалями тучек луна закрывается.
Ветер-певун с завываньем кликуш
Мчится в лесную дремучую глушь.
Роща грозится еловыми пиками,
Прячутся совы с пугливыми криками.
Машет колдунья руками костлявыми.
Звезды моргают из туч над дубравами.
Серьгами змеи под космы привешены,
Кружится с вьюгою страшно и бешено.
Пляшет колдунья под звон сосняка.
С черною дрожью плывут облака.

⟨1915⟩

РУСАЛКА ПОД НОВЫЙ ГОД

Ты не любишь меня, милый голубь.
Не со мной ты воркуешь, с другою.
Ах, пойду я к реке под горою,
Кинусь с берега в черную прорубь

Не отыщет никто мои кости,
Я русалкой вернуся весною.
Приведешь ты коня к водопою,
И коня напою я из горсти.

Запою я тебе втихомолку,
Как живу я царевной, тоскую,
Заману я тебя, заколдую,
Уведу коня в струи за холку!

Ой, как терем стоит под водою —
Там играют русалочки в жмурки, —
Изо льда он, а окна-конурки
В сизых рамах горят под слюдою.

На постель я травы натаскаю,
Положу я тебя с собой рядом.
Буду тешить тебя своим взглядом,
Зацелую тебя, заласкаю!

⟨1915⟩

ДЕД

Сухлым войлоком по стежкам
Разрыхлел в траве помет.
У гумен к репейным брошкам
Липнет мушкий хоровод.

Старый дед, согнувши спину,
Чистит вытоптанный ток
И подонную мякину
Загребает в уголок.

Щурясь к облачному глазу,
Подсекает он лопух,
Роет скрябкою по пазу
От дождей обходный круг.

Черепки в огне червонца.
Дед — как в жамковой слюде,
И играет зайчик солнца
В рыжеватой бороде.

⟨1915⟩

РАЗБОЙНИК

Стухнут звезды, стухнет месяц,
Стихнет песня соловья,
В чернобылье перелесиц
С кистенем засяду я.

У реки под косогором
Не бросай, рыбак, блесну,
По дороге темным бором
Не считай, купец, казну!

Руки цепки, руки хватки,
Не зазря зовусь ухват:
Загребу парчу и кадки,
Дорогой сниму халат.

В темной роще заряница
Чешет елью прядь волос;
Выручай меня, ножница:
Раздается стук колес.

Не дознаться глупым людям,
Где копил — хранил деньгу;
Захотеть — так все добудем
Темной ночью на лугу!

⟨1915⟩

* * *

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Громко звенит за селом хоровод,
Там она, там она песни поет.

Помню, как крикнула, шигая в сруб:
«Что же, красив ты, да сердцу не люб.

Кольца кудрей твоих ветрами жжет,
Гребень мой вострый другой бережет».

Знаю, чем чужд ей и чем я не мил:
Меньше плясал я и меньше всех пил.

Кротко я с грустью стоял у стены,
Все они пели и были пьяны.

Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода.

Свившись с ним в жгучее пляски кольцо,
Брызнула смехом она мне в лицо.

Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.

Маком влюбленное сердце цветет,
Только не мне она песни поет.

⟨1915⟩

* * *

Наша вера не погасла,
Святы песни и псалмы.
Льется солнечное масло
На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведет нас к раю
Богомольная тропа.

Все пути твои — в удаче,
Но в одном лишь счастья нет:
Он закован в белом плаче
Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты
Из церковных кирпичей;
Те палаты — казематы
Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в боге,
Не зови любить и жить...
Я пойду по той дороге
Буйну голову сложить.

1915

* * *

Вечер, как сажа,
Льется в окно.
Белая пряжа
Ткет полотно.

Пляшет гасница,
Прыгает тень.
В окна стучится
Старый плетень.

Липнет к окошку
Черная гать.
Девочку-крошку
Байкает мать.

Взрыкает зыбка
Сонный тропарь:
«Спи, моя рыбка,
Спи, не гутарь».

⟨*1916*⟩

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца ярого.
Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.

Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком в лаптях берестяных.

На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

⟨1916⟩

* * *

По лесу леший кричит на сову.
Прячутся мошки от птичек в траву.
Ау!

Спит медведиха, и чудится ей:
Колет охотник острогой детей.
Ау!

Плачет она и трясет головой:
— Детушки-дети, идите домой.
Ау!

Звонкое эхо кричит в синеву:
— Эй ты, откликнись, кого я зову!
Ау!

⟨1916⟩

* * *

За рекой горят огни,
Погорают мох и пни.
Ой, купало, ой, купало,
Погорают мох и пни.

Плачет леший у сосны —
Жалко летошней весны.
Ой, купало, ой, купало,
Жалко летошней весны.

А у наших у ворот
Пляшет девок корогод.
Ой, купало, ой, купало,
Пляшет девок корогод.

Кому горе, кому грех,
А нам радость, а нам смех.
Ой, купало, ой, купало,
А нам радость, а нам смех.

⟨1916⟩

МОЛОТЬБА

Вышел зáраня дед
На гумно молотить:
«Выходи-ка, сосед,
Старику подсобить».

Положили гурьбой
Золотые снопы.
На гумне вперебой
Зазвенели цепы.

И ворочает дед
Немолоченый край:
«Постучи-ка, сосед,
Выбивай каравай».

И под сильной рукой
Вылетает зерно.
Тут и солод с мукой,
И на свадьбу вино.

За тяжелой сохой
Эта доля дана.
Тучен колос сухой —
Будет брага хмельна.

⟨1916⟩

* * *

Скупались звезды в невидимом бреде.
Жутко и страшно проснувшейся бредне.
Пьяно кружуся я в роще помятой,
Хочется звезды рукою помяти.
Блестятся гусли веселого лада,
В озере пенистом моется лада.
Груди упруги, как сочные дули,
Ластится к вихрям, чтоб в кости ей дули.
Тает, как радуга, зорька вечерня,
С тихою радостью в сердце вечерня.

⟨1916⟩

* * *

Не в моего ты бога верила,
Россия, родина моя!
Ты как колдунья дали мерила,
И был как пасынок твой я.
Боец забыл отвагу смелую,
Пророк одрях и стал слепой.
О, дай мне руку охладелую —
Идти единою тропой.
Пойдем, пойдем, царевна сонная,
К веселой вере и одной,
Где светит радость испоконная
Неопалимой купиной.
Не клонь главы на грудь могутную
И не пугайся вещим сном.
О, будь мне матерью напутною
В моем паденье роковом.

⟨1916⟩

* * *

Закружилась пряжа снежистого льна.
Панихидный вихорь плачет у окна.
Замело дорогу вьюжным рукавом,
С этой панихидой век свой весь живем.
Пойте и рыдайте, ветры, на тропу,
Нечем нам на помин заплатить попу.
Слушай мое сердце, бедный человек,
Нам за гробом грусти не слыхать вовек.
Как помрем без пенья под ветряный звон.
Понесут нас в церковь на мирской канон.
Некому поплакать, некому кадить,
Есть ли им охота даром приходить.
Только ветер резвый, озорник такой,
Запоет разлуку вместо упокой.

⟨1916⟩

* * *

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога

Знаю, годы тревогу заглушат
Эта боль, как и годы, пройдет
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет

Не силен тот, кто радости просит
Только гордые в силе живут
А другой изомнет и забросит.
Как изъеденный сырью хомут

Не с тоски я судьбы поджидаю
Будет злобно крутить порошá
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша

Снимет шубу и шали развяжет
Примостится со мной у огня
И спокойно и ласково скажет
Что ребенок похож на меня

⟨1916⟩

НИЩИЙ С ПАПЕРТИ

Глаза — как выцветший лопух,
В руках зажатые монеты.
Когда-то славный был пастух,
Теперь поет про многи лета.
А вон старушка из угла,
Что слезы льет перед иконой,
Она любовь его была
И пьяный сон в меже зеленой.
На свитках лет сухая пыль.
Былого нет в заре куканьшей.
И лишь обгрызанный костыль
В его руках звенит, как раньше.
Она чужда ему теперь,
Забыла звонную жалейку.
И как пойдет, спеша, за дверь,
Подаст в ладонь ему копейку.
Он не посмотрит ей в глаза,
При встрече глаз больнее станет
Но, покрестясь на образа,
Рабу по имени помянет.

⟨1916⟩

* * *

Месяц рогом облако бодает,
В голубой купается пыли.
В эту ночь никто не отгадает,
Отчего кричали журавли.
В эту ночь к зеленому затону
Прибегла она из тростника.
Золотые космы по хитону
Разметала белая рука.
Прибегла, в ручей взглянула прыткий,
Опустилась с болью на пенек.
И в глазах завяли маргаритки,
Как болотный гаснет огонек.
На рассвете с вьющимся туманом
Уплыла и скрылася вдали...
И кивал ей месяц за курганом,
В голубой купаяся пыли.

⟨1916⟩

* * *

Еще не высох дождь вчерашний —
В траве зеленая вода!
Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда.

Брожу по улицам и лужам,
Осенний день пуглив и дик.
И в каждом встретившемся муже
Хочу постичь твой милый лик.

Ты все загадочней и краше
Глядишь в неясные края.
О, для тебя лишь счастье наше
И дружба верная моя.

И если смерть по божьей воле
Смежит глаза твои рукой,
Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.

⟨1916⟩

* * *

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима

Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Затянут смуглою рукою.

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.

И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!

Июнь 1916

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких ветел
Перепельи звоны ветра.
Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешным светом.

Сон избы легко и ровно
Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лик за лесом,
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохам.

Июнь 1916

ИСУС-МЛАДЕНЕЦ

Собрала пречистая
Журавлей с синицами
В храме.

«Пойте, веселитеся
И за всех молитеся
С нами!»

Молятся с поклонами,
За судьбу греховную.
За нашу;

А маленький боженька,
Подобравши ноженьки,
Ест кашу.

Подошла синица,
Бедовая птица,
Попросила:

«Я тебе, боженька,
Притомив ноженьки,
Молилась».

Журавль и скажи враз:
«Тебе и кормить нас,
Коль создал».

А боженька наш
Поделил им кашу
И отдал.

В золоченой хате
Смотрит божья мати
В небо.

А сыночек маленький
Просит на завалинке
Хлеба.

Позвала пречистая
Журавлей с синицами,
Сказала:

«Приносите, птицы,
Хлеба и пшеницы
Немало».

Замешкались птицы,
Журавли, синицы,
Дождь прочат.

А боженька в хате
Все теребит мати,
Есть хочет.

Вышла богородица
В поле, за околицу,
Кличет.

Только ветер по полю,
Словно кони, топает,
Свищет.

Боженька, маленький,
Плакал на завалинке
От горя.

Плакал, обливаясь...
Прилетал тут аист
Белоперый.

Взял он осторожненько
Красным клювом боженьку,
Умчался.

И господь на елочке,
В аистовом гнездышке,
Качался.

Ворочалась к хате
Пречистая мати,
Сына нету.

Собрала котомку
И пошла сторонкой
По свету

Шла, несла немало
Наконец сыскала
В лесочке:

На спине катается
У белого аиста
Сыночек.

Позвала пречистая
Журавлей с синицами
Сказала:

«На вечное время
Собирайте семя
Немало.

А белому аисту,
Что с богом катается
Меж веток,

Носить на завалинки
Синеглазых маленьких
Деток».

⟨1916⟩

* * *

Без шапки, с лыковой котомкой,
Стирая пот свой, как елей,
Бреду дубравною сторонкой
Под тихий шелест тополей.

Иду, застегнутый веревкой,
Сажусь под копны на лужок.
На мне дырявая поддевка,
А поводырь мой – подожок.

Пою я стих о светлом рае,
Довольный мыслью, что живу.
И крохи сочные бросаю
Лесным камашкам на траву

По лопуху промяты стежки.
Вдали озерный купорос,
Цепляюсь в клейкие сережки
Обвисших до земли берез.

И по кустам межи соседней,
Под возглашенья гулких сов,
Внимаю, словно за обедней,
Молебну птичьих голосов.

‹1916›

* * *

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.

С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

⟨1916⟩

МЕЧТА

(Из книги «Стихи о любви»)

1

В темной роще на зеленых елях
Золотятся листья вялых ив.
Выхожу я на высокий берег,
Где покойно плещется залив.
Две луны, рога свои качая,
Замутили желтым дымом зыбь.
Гладь озер с травой не различая,
Тихо плачет на болоте выпь.
В этом голосе обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.
Много лет я не был здесь и много
Встреч веселых видел и разлук,
Но всегда хранил в себе я строго
Нежный сгиб твоих туманных рук.

2

Тихий отрок, чувствующий кротко,
Голубей целующий в уста,—
Тонкий стан с медлительной походкой
Я любил в тебе, моя мечта.
Я бродил по городам и селам,
Я искал тебя, где ты живешь,
И со смехом, резвым и веселым,
Часто ты меня манила в рожь.
За оградой монастырской кроясь,
Я вошел однажды в белый храм:
Синею водою солнце моясь,
Свой орарь мне кинуло к ногам.
Я стоял, как инок, в блеске алом,
Вдруг сдавила горло тишина...
Ты вошла под черным покрывалом
И, поникнув, стала у окна.

3

С паперти под колокол гудящий
Ты сходила в благовонье свеч.
И не мог я, ласково дрожащий,
Не коснуться рук твоих и плеч.
Я хотел сказать тебе так много,
Что томило душу с ранних пор,
Но дымилась тихая дорога
В незакатном полыме озер.
Ты взглянула тихо на долины,
Где в траве ползла кудряво мгла..
И упали редкие седи́ны
С твоего увядшего чела...
Чуть бледнели складки от одежды,
И, казалось, в русле томных вод,—
Уходя, жевал мои надежды
Твой беззубый, шамкающий рот.

4

Но недолго душу холод мучил.
Как крыло, прильнув к ее ногам,
Новый короб чувства я навьючил
И пошел по новым берегам.
Безо шва стянулась в сердце рана,
Страсть погасла, и любовь прошла
Но опять пришла ты из тумана
И была красива и светла.
Ты шепнула, заслонясь рукою·
«Посмотри же, как я молода.
Это жизнь тебя пугала мною,
Я же вся как воздух и вода».
В голосах обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов

⟨1916⟩

* * *

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,
Кто разлюбил твой острог и тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

‹1916›

* * *

Снег, словно мед ноздреватый,
Лег под прямой частокол.
Лижет теленок горбатый
Вечера красный подол.

Тихо от хлебного духа
Снится кому-то апрель.
Кашляет бабка-старуха,
Грудью склонясь на кудель.

Рыжеволосый внучонок
Щупает в книжке листы.
Стан его гибок и тонок,
Руки белей бересты.

Выпала бабке удача,
Только одно невдомек:
Плохо решает задачи
Выпитый ветром умок.

С глазу ль, с немилого ль взора
Часто она под удой
Поит его с наговором
Преполовенской водой.

И за глухие поклоны
С лика упавших седин
Пишет им числа с иконы
Божий слуга — Дамаскин.

⟨1917⟩

* * *

К теплому свету, на отчий порог,
Тянет меня твой задумчивый вздох.

Ждут на крылечке там бабка и дед
Резвого внука подсолнечных лет.

Строен и бел, как березка, их внук,
С медом волосьев и бархатом рук.

Только, о друг, по глазам голубым —
Жизнь его в мире пригрезилась им.

Шлет им лучистую радость во мглу
Светлая дева в иконном углу.

С тихой улыбкой на тонких губах
Держит их внука она на руках.

⟨1917⟩

* * *

Есть светлая радость под сенью кустов
Поплакать о прошлом родных берегов
И, первую проседь лаская на лбу,
С приятною болью пенять на судьбу
Ни друга, ни думы о бабьих губах
Не зреет в ее тихомудрых словах,
Но есть в ней, как вера, живая мечта
К незримому свету приблизить уста.
Мы любим в ней вечер, над речкой овес, —
И отроков резвых с медынью волос.
Стряхая с бровей своих призрачный дым,
Нам сладко о тайнах рассказывать им.
Есть нежная кротость, присев на порог,
Молиться закату и лику дорог.
В обсыпанных рощах, на сжатых полях
Грустит наша дума об отрочьих днях.
За отчею сказкой, за звоном стропил
Несет ее шорох неведомых крыл...
Но крепко в равнинах ковыльных лугов
Покоится правда родительских снов.

⟨1917⟩

* * *

Заря над полем — как красный тын.
Плывет на тучке превечный сын.

Вот вышла бабка кормить цыплят.
Горит на небе святой оклад.

— Здорово, внучек!
— Здорово, свет!
— Зайди в избушку.
— А дома ль дед?

— Он чинит невод ловить ершей.
— А много ль деду от роду дней?

— Уж скоро девять десятков зим.—
И вспорхнул внучек, как белый дым.

С душою деда поплыл в туман,
Где зреет полдень незримых стран.

⟨1917⟩

* * *

Небо ли такое белое
Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Береговые вяжет повода.

Синим жерновом развеяны и смолоты
Водяные зерна на муку.
Голубой простор и золото
Опоясали твою тоску.

Не встревожен ласкою угрюмою
Загорелый взмах твоей руки.
Все равно — Архангельском иль Умбою
Проплывать тебе на Соловки.

Все равно под стоптанною палубой
Видишь ты погорбившийся скит.
Подпевает тебе жалоба
Об изгибах тамошних ракит.

Так и хочется под песню свеситься
Над водою, спихивая день...
Но спокойно светит вместо месяца
Отразившийся на облаке тюлень.

1917

О РОДИНА!

О родина, о новый
С златою крышей кров,
Труби, мычи коровой,
Реви телком громов.

Брожу по синим селам,
Такая благодать,
Отчаянный, веселый,
Но весь в тебя я, мать.

В училище разгула
Крепил я плоть и ум.
С березового гула
Растет твой вешний шум.

Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.

И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклинаю
За то, что ты мне мать.

⟨1917⟩

* * *

Пушистый звон и руга,
И камень под крестом.
Стегает злая вьюга
Расщелканным кнутом.

Шаманит лес-кудесник
Про черную судьбу.
Лежишь ты, мой ровесник,
В нетесаном гробу.

Пусть снова финский ножик
Кровавит свой клинок.
Тебя не потревожит
Ни пеший, ни ездок.

И только с перелесиц
Сквозь облачный тулуп
Слезу обронит месяц
На мой завьялый труп.

⟨1918⟩

* * *

Заметает пурга
Белый путь.
Хочет в мягких снегах
Потонуть.

Ветер резвый уснул
На пути;
Ни проехать в лесу,
Ни пройти.

Забежала коляда
На село,
В руки белые взяла
Помело.

Гей вы, нелюди-люди,
Народ,
Выходите с дороги
Вперед!

Испугалась пурга
На снегах,
Побежала скорей
На луга.

Ветер тоже спросонок
Вскочил
Да и шапку с кудрей
Уронил.

Утром ворон к березоньке
Стук...
И повесил ту шапку
На сук.

⟨1918⟩

СЕЛЬСКИЙ ЧАСОСЛОВ

Вл. Чернявскому

1

О солнце, солнце,
Золотое, опущенное в мир ведро,
Зачерпни мою душу!
Вынь из кладезя мук
Страны моей.

Каждый день,
Ухватившись за цепь лучей твоих,
Карабкаюсь я в небо.
Каждый вечер
Срываюсь и падаю в пасть заката.

Тяжко и горько мне...
Кровью поют уста...
Снеги, белые снеги —
Покров моей родины —
Рвут на части.
На кресте висит
Ее тело,
Голени дорог и холмов
Перебиты...

Волком воет от запада
Ветер...
Ночь, как ворон,
Точит клюв на глаза-озера.
И доскою надкрестною
Прибита к горе заря:

ИСУС НАЗАРЯНИН
ЦАРЬ
ИУДЕЙСКИЙ

2

О месяц, месяц!
Рыжая шапка моего деда,
Закинутая озорным внуком на сук облака,
Спади на землю...
Прикрой глаза мои!

Где ты...
Где моя родина?

Лыками содрала твои дороги
Буря,
Синим языком вылизал снег твой —
Твою белую шерсть —
Ветер...

И лежишь ты, как овца,
Дрыгая ногами в небо,
Путая небо с яслями,
Путая звезды
С овсом золотистым.

О, путай, путай!
Путай все, что видишь...
Не отрекусь принять тебя даже с солнцем,
Похожим на свинью...
Не испугаюсь просунутого пятачка его
В частокол
Души моей.
Тайна твоя велика есть.
Гибель твоя миру купель
Предвечная.

3

О красная вечерняя заря!
Прости мне крик мой.
Прости, что спутал я твою Медведицу
С черпаком водовоза...

Пастухи пустыни —
Что мы знаем?..
Только ведь приходское училище
Я кончил,
Только знаю библию да сказки,
Только знаю, что поет овес при ветре...
Да еще
По праздникам
Играть в гармошку.

Но постиг я...
Верю, что погибнуть лучше,

Чем остаться
      С содранною
      Кожей.

Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
      Начертательница
      Третьего
Завета.

4

О звезды, звезды,
Восковые тонкие свечи,
Капающие красным воском
      На молитвенник зари,
          Склонитесь ниже!

Нагните пламя свое
      Чтобы мог я,
      Привстав на цыпочки,
      Погасить его

Он не понял, кто зажег вас,
О какой я пропел вам
          Смерти.

          Радуйся,
                    Земля!

Деве твоей Руси
Новое возвестил я
      Рождение.
Сына тебе
Родит она...

Имя ему —
      Израмистил.

Пой и шуми, Волга!
В синие ясли твои опрокинет она
      Младенца.

Не говорите мне,
          Что это

В полном круге
Будет всходить
        Луна...

Это он!
Это он
Из чрева неба
Будет высовывать
        Голову...
⟨1918⟩

* * *

И небо и земля все те же,
Все в те же воды я гляжусь,
Но вздох твой ледовитый реже,
Ложноклассическая Русь.

Не огражу мой тихий кров
От радости над умираньем,
Но жаль мне, жаль отдать страданью
Езекиильский глас ветров.

Шуми, шуми, реви сильней,
Свирепствуй, океан мятежный,
И в солнца золотые мрежи
Сгоняй сребристых окуней.

⟨*1918*⟩

* * *

Не стану никакую
Я девушку ласкать.
Ах, лишь одну люблю я,
Забыв любовь земную,
На небе божью мать.

В себе я мыслить волен,
В душе поет весна.
Ах, часто в келье темной
Я звал ее с иконы
К себе на ложе сна.

И в час, как полночь било,
В веселый ночи мрак
Она как тень сходила
И в рот сосцы струила
Младенцу на руках.

И, сев со мною рядом,
Она шептала мне:
«Смирись, моя услада,
Мы встретимся у сада
В небесной стороне».

8 октября 1918

КАНТАТА

Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

‹1918›

* * *

В час, когда ночь воткнет
Луну на черный палец,—
Ах, о ком? ах, кому поет
Про любовь соловей-мерзавец?
Разве можно теперь любить,
Когда в сердце стирают зверя?
Мы идем, мы идем продолбить
Новые двери.

К черту чувства, слова в навоз,
Только образ и мощь порыва!
Что нам солнце? Весь звездный обоз
Золотая струя коллектива.
Что нам Индия? Что Толстой?
Этот ветер что был, что не был
Нынче мужик простой
Пялится шире неба.

Январь 1919

* * *

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотую плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю.
О, какой богомаз мой лик
Начертил, грозовице внемля?

Пусть Америка, Лондон пусть...
Разве воды текут обратно?
Это пляшет российская грусть,
На солнце смывая пятна.

Февраль 1919

* * *

Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметите мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.

Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.

Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.

Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.

⟨1919?⟩

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств –
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой! дай мне руки
Я по-иному не привык,—
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз –
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь..
Мне страшно,— ведь душа проходит.
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли — в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня

⟨1922⟩

* * *

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак.
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.

Мутно гляжу на окна.
В сердце тоска и зной.
Катится, в солнце измокнув,
Улица предо мной.

А на улице мальчик сопливый.
Воздух поджарен и сух.
Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с эфтой силой
В душу свою не лезь.

Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки —
Душу мою затыкать.

⟨1922?⟩

ПАПИРОСНИКИ

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.
Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они — карманники,
Веселые воры.
Тех площадь — на Никитской,
А этих — на Тверской.
Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертона
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горько,
Они без пива — вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.
Потом опять печально
Выходят на мороз
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

⟨1923⟩

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь,—
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

⟨1924⟩

* * *

Цветы на подоконнике,
Цветы, цветы.
Играют на гармонике,
Ведь слышишь ты?
Играют на гармонике,
Ну что же в том?
Мне нравятся две родинки
На лбу крутом.
Ведь ты такая нежная,
А я так груб.
Целую так небрежно
Калину губ.
Куда ты рвешься, шалая?
Побудь, побудь...
Постой, душа усталая,
Забудь, забудь.

Она такая дурочка,
Как те и та...
Вот потому Снегурочка
Всегда мечта.

⟨1924⟩

ПАМЯТИ БРЮСОВА

Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас не забудет Русь.

Любили девушек,
Любили женщин мы —
И ели хлеб
Из нищенской сумы.

Но не любили мы
Продажных торгашей.
Планета, милая,—
Катись, гуляй и пей.

Мы рифмы старые
Раз сорок повторим.
Пускать сумеем
Гоголя и дым.

Но все же были мы
Всегда одни.
Мой милый друг,
Не сетуй, не кляни!

Вот умер Брюсов,
Но помрем и мы,—
Не выпросить нам дней
Из нищенской сумы.

Но крепко вцапались
Мы в нищую суму.
Валерий Яклевич!
Мир праху твоему!

‹1924›

ЦВЕТЫ

I

Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме «вновь»
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем,

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну что ж! пускай не увидать!
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей.
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.

Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.

⟨1924⟩

БАТУМ

Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль
Иль от скопа ль
Каждый день я чувствую
Тоску.

Далеко я,
Далеко заброшен,
Даже ближе
Кажется луна.
Пригоршнями водяных горошин
Плещет черноморская
Волна.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

Может быть, из Гавра
Иль Марселя
Приплывет
Луиза иль Жаннет,
О которых помню я
Доселе,
Но которых
Вовсе — нет.

Запах моря в привкус
Дымно-горький,
Может быть,
Мисс Метчел
Или Клод
Обо мне вспомянут

В Нью-Йорке,
Прочитав сей вещи перевод.

Все мы ищем
В этом мире буром
Нас зовущие
Незримые следы.
Не с того ль,
Как лампы с абажуром,
Светятся медузы из воды?

Оттого
При встрече иностранки
Я под скрипы
Шхун и кораблей
Слышу голос
Плачущей шарманки
Иль далекий
Окрик журавлей.

Не она ли это?
Не она ли?
Ну да разве в жизни
Разберешь?
Если вот сейчас ее
Догнали
И умчали
Брюки клеш.

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

А другие здесь
Живут иначе.
И недаром ночью
Слышен свист,—
Это значит,
С ловкостью собачьей
Пробирается контрабандист.

Пограничник не боится
Быстри.
Не уйдет подмеченный им
Враг,
Оттого так часто
Слышен выстрел
На морских, соленых
Берегах.

Но живуч враг,
Как ни вздынь его,
Потому синеет
Весь Батум.
Даже море кажется мне
Индиго
Под бульварный
Смех и шум.

А смеяться есть чему
Причина.
Ведь не так уж много
В мире див.
Ходит полоумный
Старичина,
Петуха на темень посадив.

Сам смеясь,
Я вновь иду на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

⟨1924⟩

КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко,—
Впадают в диво
И слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!

Не Пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке
Все делал
Лишь людской закон

Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю

Он – рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия – его
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,

Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу»

17 января 1925

ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
Я помню жуткий
Снежный день.
Его я видел мутным взглядом.
Железная витала тень
Над омраченным Петроградом.
Уже все чуяли грозу,
Уже все знали что-то,
Знали,
Что не напрасно, знать, везут
Солдаты черепах из стали.
Рассыпались...
Уселись в ряд...
У публики дрожат поджилки...
И кто-то вдруг сорвал плакат
Со стен трусливой учредилки.
И началось...
Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,
И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.
Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов».

⟨1925⟩

1 МАЯ

Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за «Стансы» –
В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая –
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то «хны»,
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.

Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,
Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая
За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень
Вдрезину лечь,
Я гордо выпил за рабочих
Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,
Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе
Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,
Чтоб жизнь губя...
Вот потому я пил четвертый
Лишь за себя.

⟨1925⟩

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин,—
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету свою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

‹1925›

* * *

Тихий ветер. Вечер сине-хмурый.
Я смотрю широкими глазами.
В Персии такие ж точно куры,
Как у нас в соломенной Рязани.

Тот же месяц, только чуть пошире,
Чуть желтее и с другого края.
Мы с тобою любим в этом мире
Одинаково со всеми, дорогая.

Ночи теплые, — не в воле я, не в силах,
Не могу не прославлять, не петь их.
Так же девушки здесь обнимают милых
До вторых до петухов, до третьих.

Ах, любовь! Она ведь всем знакома,
Это чувство знают даже кошки,
Только я с отчизной и без дома
От нее сбираю скромно крошки.

Счастья нет. Но горевать не буду —
Есть везде родные сердцу куры,
Для меня рассеяны повсюду
Молодые чувственные дуры.

С ними я все радости приемлю
И для них лишь говорю стихами:
Оттого, знать, люди любят землю,
Что она пропахла петухами.

⟨1925⟩

* * *

Я иду долиной На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы,—
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косой выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

18 июля 1925

* * *

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

‹1925›

* * *

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.

⟨1925⟩

* *

Плачет метель, как цыганская скрипка.
Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не надо

Так мы далеки и так не схожи –
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь память
Снежною ночью в лихую замять.

Я не заласкан — буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.

⟨1925⟩

* * *

Ах, метель такая, просто черт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.

⟨1925⟩

* * *

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

⟨1925⟩

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

* * *

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело,—
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив

Молодая, с чувственным оскалом
Я с тобой не нежен и не груб
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я – они прошли, как тени
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени
А теперь сидишь вот у меня

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,–
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку.
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо «Добрый вечер!»
Я отвечу «Добрый вечер miss»

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может
Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

* * *

Может, поздно, может, слишком рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною сталось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин —
Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе — лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман,—
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною сталось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

13 декабря 1925

* * *

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в душе всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Не желать, не требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.

⟨*1925*⟩

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья
Милый мой, ты у меня в груди
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди

До свиданья, друг мой, без руки,
без слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей

⟨1925⟩

ПРОЗА

ЯР

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири. и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и. притаившись, погасли.

— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье

— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона.

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп. опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав. пихал за поросшие. как мшаниной, скулы На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья

Кабы не лес крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью. нахлобучил лосиную шапку

В запотевшие щеки дунуло ветром

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с иныстым визгом стукнула о пробой

— Кто едет?— процедил его охрипший голос.

— Овсяники,— кратко ответили за возами.

— То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал яа дорогу.

— В чапыжнике,— глухо крякнул оя, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел яа дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

— Идут,— позвенел он ружьем по выбоияе и, яе затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал яад пустым стакаяом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

— Эй, Фанас,— дернул его Филипп за казинетовую поддевку.— Волки пришли яа свадьбу.

— Никакой свадьбы не будет,— забурукал Ваяьчок.— Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехяувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

— Волки, говорю, яа яру.

— Ась?— заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божяицей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховяицу, заложил в карман паклю.

— Чукая, Чукан!— кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке яацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по сяегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, мияуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хряснули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил»,— мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки»,— заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

— Откулева?

— С Чухлинки.

— Далеконько забрел

— Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.

— Я ведь гнал-то.

— Ты?

— Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок Под захряслыми валенками зажевал снег

— Коли гнал, поделимся

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

— Скидывай кожух то?

— Я хотел тебе сказать не замай

— А что?

— Тут недалече моя сторожка Я волков только ту дылича бил.

Незнакомец весело закачал головою

— Так ты, значит, беги за салазками

— Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна

— А как тебя зовут-то?

— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом Он снял голицы и скинул ружье

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

— Блюешь?..

— Брр...— задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза Похмели меня

— Вставай... проветришься

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду хотел остановиться

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал

подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.
Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.
– Медведя убили...
– Самдели?
– Без смеха.
Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но при хлынувший к голове хмель погасил их.
– Ты идешь?
- Иду .
– И я пойду
Подковылял к полатям и вытащил свою шубу
Пойдем.. подсобишь.
Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну, на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль
– Там выпьем
Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять за выл, скребя в подворотню, и грыз ошейник, с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свер гывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей
С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.
Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.
По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.
– Ух, какой! – протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст.– Ну и лопатки!
– Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, – заго ворил Филипп, – да угости пришляка тепленьким
– А есть разве?
– Есть.
Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.
– Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем
Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о при даном

– Волков я тоже думаю взвалить.

– А где они?

– Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

— Пугаются,— крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученый тяж повернулся концом под грядку

— Эй, вставай,— крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

— Не встану,— кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу. как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули об-

вешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

Чи-их! – фыркнуло около печи, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

– К твоей милости,— низко свесился дружко.

– Зубок привез?

– Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

– Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

– Расколешь! – заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

– Небось,— выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

— Смачная! — лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу: — Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

— На колымагу! — замахал рукою дружко.— Выходит сейчас.

— На колымагу так на колымагу,— крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.

— Есть,— щелкнул дьячок под салазки.

— Опосля, опосля,— зашептал дружко.

Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обрызганным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

— Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

— Ишь ты какой сурьезный, говорил шепелявя дьякон, — в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

– Ты больно широко раздвинулся. заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку. прицепил за дышло ноги и мысленно ругался. «Как петух. черт сивый!»

— Эй, матушка! – крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол – Н-но, дьявол! – рванул он крепко вожжи. и лошади. кидая грязь, забрякали подковами.

— А ты. пожалуй, нарочно уселся так,— обернулся поп опять к дьякону,— грязь-то вся мне в лицо норовит.

— Это, батюшка, бог шельму карает,— огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

— Тпру, тпру! — кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

— Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, – искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста – с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала

— Пей, гусь, да пути не мочи

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился – как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, ото-

двигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником

Женится переменится, – говорил Анисиму уважительный кум Я сам такой смолоду олахарь был

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи

Костя как то мало смотрел на жену Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались

До замужества Анна спуталась со своим работником

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним На длинные ресницы падали густые каштановые волосы а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на гальянке Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту. и остается навсегда

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте

На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху

Анна с батраком ходила в ригу. и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко. колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому

После хрестца он вынимал баночку и, завернув нако со бумажку. насыпал в нее. как опилки. чистую полу крупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри. и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и. улыбаясь. стряхивал пепел.

— Ну, давай, Степан. еще хрестец обмолотим. – говорила она и. закинув за подмышки зарукавник. развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и. щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно. как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски; и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль. стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

— Пойдем,— покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

— Ничего, Степан, не бойся,— подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок,— ты парень хороший.

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь — я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

— Ничего,— говорил он спокойно и ласково.— Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

— Благословите меня,— сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

— К страстной вертайся,— сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу Дул ветер, играла поземка, и снег звенел

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра коротайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

— Ну, прощай, Анна!— проговорил тихо и кротко.— Не обижай стариков.— Немного задумался и гладил ее щеку.— Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

— Костя!— гаркнула она.— Вернись!

— Ись...— ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

— Очухайся!— кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

— Снегом его,— тихо сказал Карев.

— И то снегом...

Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

— Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

— С перепою, — тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.

— Пей, — поднес он стакан Кареву. — Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, — почесался Филипп и вышел в теплушку.

— Липа? Лип?.. — загукал его сиповатый голос. — Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку

— Убью, — усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

— Не боюсь, — тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр. Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

— Тетенька ушла,— сказал он ей, как они пришли из церкви.— Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

— Отчего он не тает?— спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

— Лучше я повешусь на ветках березы,— говорила она,— чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.

Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

— А я возьму тебя и съем,— шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давался искаться.

— Пусти ты,— отпихивал он ее руки.

— Ложись, ложись,— тянула она его к себе.— Я расскажу тебе сказку.

— Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку?— пришлепывая губами, выговаривал Юшка.— Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

— Готов,— сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

— Славная штука,— ухмыльнулся Филипп,— рублев двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю,— обернулся он к Кареву: — Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

— Я пришляк, у просфирни проживаю.

— Пономарь, что ль, какой?

— Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

— Зорит...— поднял блюдце Карев.— Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

— Ишь наклюкался,— рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом.— Гусь жареный, тоже свататься приехал!

— Ох,— застонал Ваньчок и откинул полу.

— Кто там?— отворил дверь Филипп.

— Свои,— забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

— Есть дичь-то?— затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

— Есть.

— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

— Ну, так, знычит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.

— Коли не обманываешь — ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

— Получай,— слюнявя пальцы, отсчитывал он.

— Счастлив, брат, ты,— ткнул в бок Филипп Карева,— и скупщик, как нарочито, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

— Так ты помоги,— скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

— Ишь, какой здоровый!— смеялись скупщики.

— Мерина своротит,— щелкнул кушаком Филипп.- Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

— Он убил-то?

— Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

— Н-но!— крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку

— Не надуешь проклятого.

— Хитрой мужик,— подхватили скупщики и задергали башлыками.

— Дели,— выбросил Филипп на стол деньги.

— Сам дели.

— Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

— Кто это? — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

— Всю память заспал,— ухмыльнулся Филипп.

— Нет, самдели?

— Забыл, каналья?

— Эй, дядя,— поднялся Карев,— аль и впрямь за

памятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

- Смеетесь.— поднес к губам корец.

- А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

Тебе полтораста, а мне сто,— встал Карев и протянул руку.

Как же так?

- Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги

- Ай и скупщики были?..

- Были.

- Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел

- Погоди,— останавливал Филипп,— выспишься

- Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

Заходи!— крикнула она, махая платком

- Ладно

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.

Садись, касатик, подвезу!— крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

И то думаю.

Зпамо, лучше.. Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

Что ж пустой-то?

Продал

Ишь бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали

Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

Раменки!— крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

— Подбирай, бабушка! — крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

— Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

— Экай ты какой! — крикнула укоризненно баба. — Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

— Закуривай, — оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты

истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

— Фюи, фюи,— шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

— Ух, ух,— лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

— Придут,— говорил он, гладя мухортую собаку.— Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату: на ней еще была обуза — шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

— Мотри, богу молись,— наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

— А далеко будем ехать-то? — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

— Две ночи спать будешь,— ухмыльнулся он,— а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось,

что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

— Заблудишь,— ворчал Афонька,— не броди далеко.

— Я, дяденька, не боюсь теперь,— смышлено качал желтой курчавой головой Кузька.— Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

— Ишь какой догадливый,— смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок.. облаком заклубился дым.

— Где он, где он? — крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

— Вот он, вот он! кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

Лови, лови! кричал Афонька.— Эх ты, сопляк, протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам Гони в кусты! кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.

— Погоди, сказал Афонька,— я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» — забулькало над головами лилий.

— Кши, дьявол! — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

— Не нарвись! — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

— Тех, тех, тех,— щелкал в березняке соловей.

— Тинь, тинь, тинь,— откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом: на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсу, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкою около жернова.

Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.

Он обвязался, как путом, круг этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

— Здорово, дедунь! — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

— Здорово,— кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу,— нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...

Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

— Останься,— грустно поникнул он головою.— Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем,— толковал он с Каревым.— Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать,— вынул он пачку бумаг,— ты как Кузька стал мне... словно век тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке: Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки.

— Не гляди, что мы ковылем пахнем,— грустно усмехнулся он,— мы всю жисть, как вино, тянули...

— Что ж, захмелел?..

— Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

— Чтоб те пусто взяло! — выругался сотский, спуская осторожно мешок.— Не мудрено и брыкнуться...

— Крута лестница-то, крута...— зашамкал, упыхавшись, Афонюшка.— Обвалилась намедни плоская-то, новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

— Хруп,— обратился он к Кареву,— спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался»,— подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

— Что такую рваную повесили! — крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и задрожала...

— Фуражка, фуражка! — застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя...

Глава пятая

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и махала зарукавником.

Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

— Дома?

— Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

— Ставь! — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

— Хватит! — крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.

— Вот что, Филюшка,— сказал он, расстегивая пиджак,— Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

— Что ж надумал? — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

— Школу на Раменках выстроить...

— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыхание.

— Кто там? — крикнул он, откидывая кошель.

— Я...— тихо и кратко было ответом.

— Кто ты?

— Я...

— Я не знаю, кто ты,— смеясь, зашевелил он кудрявые волосы.— А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

— Что ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

— Так,— брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

— Ты бел, как мельник,— сказал отрывисто парень.— Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь.. Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою.

— Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

— Что ж ты здесь делаешь? — обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

— Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

— Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку.

— Как тебя величают-то?..

— Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

— Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

— Чай хочешь пить? — поднялся Карев.

— Не отказываюсь... Я так и норовил к тебе ночевать.

— Что ж. у меня места хватит... Уснем на сеновале. так завтра тебя до вечера не разбудишь Сено-то свежее. вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то. мягче будет и съедобней... Расставь-ка таганы, указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег

— Не воруй, Аксютка,— сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма.— Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи.. поймают тебя, изобьют... зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сызый дым и, отплевываясь, улыбался

— Ладно тебе жалеть-то,— махнул он рукой – Либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

– Ох,— повернулся Аксютка,— хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною

– Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.

Я и так к девке, и этак,— отвиливает, чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей, да чтоб того... незаметно было.

Идем мы. костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю.

Смотри, мол, карга, какой я путевый; внука-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабка со мной про божеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея божьего человека, инда захныкала

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косу шечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонечно к изголовью подполз.

Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженый березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне

Хвать старуху за горло и туловищем налег..

Под пальцами словно морковь переломилась.

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать..

Вперед пойду – по спросу урядники догадаются: на зад — люди заметят Повернул я налево и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бла стилась и слышалось, как это морковь переломилась..

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика». «Из своих»,— подумал я и лукаво под мигнул.

— А, Иван Яклич! — поднялся он.— Какими судьбами?..

— Такими судьбами,— говорю.— Иду богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

— Дельце,— говорит,— у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обработаем. «Была бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные, зубы.

Сидим, пьем чай, глядим — колымага подъехала, из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли.

— К яру пойдем,— говорит он мне.— Слышал я — ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках...

Слышим — колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет. «Не спит все»,— думаю.

Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

— Да,— протянул Аксютка,— как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

— Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.

— Ну и дока! — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста

спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять вогнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку,— я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю да так... и богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.

Глава шестая

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

— Кто-то идет,— оглянулся Аксютка,— кажись, баба,— и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

— Какая ты сегодня нарядная...

— А ты какой ненарядный,— рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.

— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

— Во-во! — замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

— Ведь он ворища,— указала пальцем на него.— Ты небось думаешь, какой прохожий?..

— Нет,— улыбнулся Карев,— я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав.

— Я пришла за тобой к празднику Ты разве не знаешь, что сегодя в Раменках престол?

— К кому ж мы пойдем?

— Как к кому?.. Там у меня тетка...

— Хорошо, — согласился он, — только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.

— Ну, теперь садись с нами к костру, — шумнул Карев. — Да выбирай заранял большую ложку.

Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

— Аксютка, — крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, — иди, поищу!

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки голубушки, — выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, — ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».

— Будя, — махнула старуха, — слезы точишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

— В расходку! — кричал в новой рубахе Филипп. — Ходи веселей, а то я пойду!

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела пля сать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью кинулся в круг

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и. покачиваясь. кинулся в круг.

Ух, леший тебя принес! – засуетился обидчиво Филипп. Весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

– Ты не ругайся, сдавил он мехи, – а то я играть не буду

Ты чей же будешь, касатик? – подвинулась к Кареву старуха.

С мельницы, ласково обернулся он

Это что школу строишь?

- Самый

Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь Ведь ты нас на воздуси кинаешь звез ды, как картошку, сбирать.

Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказы ваться

Я тут, как кирпич, толку Деньги-то ведь не мои.

Зрящее, зрящее, зашамкала прыгающим подбо родком Ведь тебе оставил-то он.

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек

За окном в матовом отсвете грустили вербы и це ловали листьями голубые окна

Аксютка запер хату и пошел в Раменки

Ему хотелось напиться пьяным и побуянить Он любил, когда на него смотрели как на страшного чело века

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спивше гося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник

Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал' крикнула она и пнула в лицо ногой

Ребятишки собираясь по кулижкам, часто грезили

о нем; каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.

— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые,— говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка,— потому знает, что я крепче всех люблю его.

— А я кашеваром буду,— тянул однотонно Федька,— Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.

— Сибирь,— передразнивал Микитка.— А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.

— Ты все сычишься наперед,— обидчиво дернул губами Федька.— Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.

— Поди-ка съешь кулака,— волновался Микитка.— А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.

— Где же Аким-то? — спросил, оглядывая пустую лежанку.

— У свата.

— Обсусоливает все,— смеясь, мотнул головой.

— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.

— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли... Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду.

Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

— Бей живореза! — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...

— Эх, Аксютка, Аксютка,— стирал кулаком слезу старый пономарь,— надломили твою бедную головушку!.. Что ж ты стоишь, чертовка! — ругнул он глазеющую бабу.— Принесла бы воды то... живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

— Подкачнуло тебя, окаянного. Мою душу загубил и себя потерял до срока.

— То-то не надо бы горячиться,— укорял пономарь.— Оно, вино-то, что хошь сделает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

— На... а... мель...— дрогнул он всем телом и упал навзничь.

— На мельницу, вишь, просится,— жалобно заохала бабка.— Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

— Ложись, ложись,— шептал бледный, как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину

Аксютка встал и провел по губам рукой.

— Поди... — глухо прошептал, поманув Карева Хвастал я... никого не убивал, закашлялся он Это я так все, выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

— Липа! — крикнул Аксютка, хватаясь за грудь Сложи мне руки... помирать хочу

Лимпиада, с красными глазами, подбежала к постели и опустилась на колени

— Крест на меня надень опять глухо заговорил он. — В кармане... оторвался. Мать надела

Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер

За окошком кугакались совы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Покосилась изба Анисима под ветрами погнулся и сам старый Анисим.

Не вернулся Костя с охоты, а после Пасхи пришло письмо от вихлюйского стрелка

Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая

«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать что о второй день Пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.

На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли»

Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела

Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее

Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.

Старушка мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.

Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду

Мать, скорбящая,– молился Анисим,– не отступись от меня.

В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.

Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.

– Жалко, жалко,– мотал рыжей бородой дьякон,– только женили и на поди какой грех.

– Стало быть, богу угодно так,– грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе.– Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.

Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.

– Пусти меня, Анисим,– сказала она мужу.– Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.

Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.

«Тоскует Наталья,– думал он,– не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».

Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.

Пусть, мол, как уйду, поминают.

Утром, в петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку

Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.

В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.

От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.

Прости Христа ради,– обняла она за шею Анисима Не знаю, ворочусь ли я.

Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу

— А ты все-таки того...— ласково обернулся к ней.— Помирать-то домой приходи.

Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.

— Анна,— позвала она бледную сноху,— поди, я тебя благословлю.

Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.

— Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько. Пойдем,— крикнула она Анисиму,— за околицу проводить надо.

Анна надела коротайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.

— А ты нет-нет и вестку пришли,— тягуче шептал Анисим,— оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...

Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.

От сердца как будто камень отвалился.

С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:

— Мати дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.

Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.

Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.

— Пойдем, папаша,— дернула его за рукав Анна.— Теперь не воротишь ведь.

Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.

— Не надо мне теперь землю,— говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле.— Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.

— Тебе видней,— отвечала Анна.— Знамо, теперь нам мускорно.

Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул со своих ссутуленных плеч.

Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.

Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь.

Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.

— Что ты думаешь делать? — спросила она его.

— Не знаю,— тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень.

— Я тоже не знаю,— сказала она и поникла головою.

Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.

— Хорош урожай,— сказал, срывая колос, Степан.— По соку видно, вишь, как пенится.

Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью.

— Ищи! — крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.

— Где ты? — улыбаясь, подымался Степан.

— Ау,— звенел ее грудной голос.

— Вот возьму и вырву твои глаза,— улыбался он, посадив ее на колени.— Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.

— Не мели зря,— зажимала она ему ладонью губы.— Ведь я ослепну тогда.

— А я тебя водить стану,— отслонял он ее руку,— сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.

Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховник и, бросив поводья без привязи, вбежал в хату.

— Степан,— крикнул он с порога,— скорей, мать помирает!

Степан надел картуз и выбежал в сени.

— Погоди,— крикнул он,— сейчас обратаю!

Лошади пылили и брызгали пенным потом.

Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка.

В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном.

Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыхались.

Степан перекрестился и подошел к матери.

Родные стояли молча и плакали.

— Степан, — прохрипела она, — не бросай Мишку.

Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван.

Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река и где-то наянно бухал бучень.

«Одна, совсем одна, — вихрились в голове ее думы, свекор в могилу глядит, а у Степана своя семья, его так и тянет туда.

Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.

Бог с ним, — гадала она, — пускай делает как хочет».

В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро, и все пойдет по новому руслу.

К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и саламатой.

— Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?

— Так, Епишка, — грустно улыбнулась она. — Невесело мне.

— Али Иван-царевич покинул?

— Все меня бросили... А может, и я покинула.

— Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему затворчатом.

— Жду, — тихо ответила она. — Только, видно, серые волки его разорвали.

— Не то, не то, моя зоренька, — перебил Епишка, — ворон живой воды не нашел.

Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая; подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.

Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.

— Вот что, — сказал он Анне. — нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи. Не вернется наша бабка. Почуял я.

Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.

Возил воду, колол дрова и молился за Костю

— На старости спасаться пришел,— шамкал беззубый седой игумен, — путево, путево, человече... В писании сказано· грядущего ко мне не изжену вон, — бог видит душу-то. У него все мысли ее записаны

Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.

По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку.

«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься.

Я молюсь за тебя богу, дай тебе он, милосердный, силы и крепости

Житье мое доброе и во всем благословение божьей матери.

Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... Утиральник твой получил... спасибо... Посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».

Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке

По селу загуторили, что она от Степки забрюхатела

Глава вторая

Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.

Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.

Пасик — еланка и орешник — место буерачное и неприглядное.

Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.

Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи.

Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.

Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.

— Далеко?

— Да в Чухлинку,— сердито махнул он, заворачивая к мельнице.— Отрезали ведь,— поморщился и стер со лба остывающий пот.

— Плохое дело...

— Куда хуже.

— Ты погоди ехать в Чухлинку,— сказал Карев.— Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду.

День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.

Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву.

Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.

— Ох,— говорил Карев,— теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.

— Где смекнуть второпях-то,— забуробил Филипп,— тут все портки растеряешь.

— Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги — как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано — плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.

— Говоришь — война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.

Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.

Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.

Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.

Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.

Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.

Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.

— На сход! — кричал он, прислонясь к мутно-голубым стеклам.

Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.

Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.

— Православные, — заговорил он. — Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.

Мужики завозились, и с ырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.

Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.

Порешили выписать инженеров и достать бумаги.

Карев опасался, как бы бумаги не пропали.

Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.

Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам.

— Уж ты выручи нас, — говорили мужики, — мы тебя за это попомним...

Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.

— Ничего мне не надо; табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.

Смеялись и с веселым размахиванием шли в трактирчик.

— Одурачить-то мы их одурачим, — возвращался он к старому разговору, — вот только б бумаги не подкашляли...

Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.

Ставни скрипели, как зыбка.

Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.

Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.

— Ты что ж это околицу-то прозевала, — весело поздоровался Карев.

Лимпиада закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.

— Забылася,— стыдливо ответила она.

— Эх ты, разепа,— шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.

Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока капался бисер воды и выводил змеистую струйку.

— Гыть-кыря! — пронеслось над самым окном.

— Кто это? — встрепенулся Филипп.— Никак пастухи... Федот, Федот,— замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху,— ай прогнали?

— Прогнали,— сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.

— Вот, сукин сын, что делает,— злобно вздохнул Филипп,— убить не грех.

— На Афонин перекресток гоним! — крикнул опять пастух.— Измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.

Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.

Тучи прорванно свисали над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.

— Пойдем в лес сходим,— сказал Филипп.— Нужно па перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.

Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и па обдире висли дождевые бусы.

— Ау! — крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.

— У-у-у! — прокатилось гаркло по освеженному лесу

Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.

— Недаром тебя зовут русалка-то,— захохотал он,— ты словно из воды вышла.

Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...

Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.

— Проиграет твое,— говорил робко работник.— Там за них какой-то охотник вступился — бедовая, говорят, голова.

Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.

– Знаю я вас. мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.

Я ничего,– виновато косился работник,– я сказать тебе... может. сделаешь что...

Помещик. косясь, уходил на конюшню и. щупая лошадь. кричал на конюха:

Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложи живо овса!..

Конюх, суетясь, тыкался в ларь. разгребал куколь и горстью просеивая, насыпал в меру.

Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.

Ты еще что мешаешься! ткнул ее помещик ногой – Вон пошла, стерва!

«Ишь черт дурковатый,— думал конюх,— не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»

– А где он живет? — обратился к вошедшему за метлой работнику.

– Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит.

– Так, так.— кивал головой конюх,— сказывают, охотой займается еще.

– Так вот что, Прохор,— обратился помещик к конюху. Заложи нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты. брат. пей поскорей чай да со мной поедешь

Карев увидел. как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.

Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле.

«Хитрит.— подумал Карев. не знает, с чего начать»

– Трудно. трудно ужиться с мужиками. говорил он качая трость Я. собственно начал он, заикнувшись на этом слове, приехал

Я знаю.— перебил Карев.

А что?

– Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.

– Н-да. протянул тот, шевеля усом,— но вы очень резко выражаетесь.

— Я говорю напрямую,— сказал Карев,— и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.

Помещик сузил глазки и стал прощаться.

Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.

— Гони сильней! — ткнул он его ногой.

— Больше некуда гнать,— оглянулся работник,— а ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.

Глава третья

Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.

Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.

Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы.

Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.

К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.

По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.

За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.

Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.

Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали вовнутрь сундучок с посудой и снедью.

Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.

В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.

— А я и работника не наймал,— говорил он, улыбаясь издалека.— На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть — и того меньше...

Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.

— А я уж вилы готовлю.

Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край.

У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.

— Трава хорошая, — зашептал Филипп, раздувая костер. — Один медушник и кашка.

— А по лугам один клевер, — заметил старик. — И забольно так по впадинам чесноком череда разит.

Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.

Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.

Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.

Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,
А на ливенке написано:
В солдатушки итить.

Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.

Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.

Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.

Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.

Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.

Зарило.

— У... роса-то, — зевнул Филипп, — пора будить.

Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.

— Костя... а Кость... — трепал он за ногу. — Кость...

Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.

— Ого-го-го... вставать пора, — протянулось по стоянке.

Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.

Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.

— Наша вторая полувыть,— подошел к Филиппу вчерашний старик.— Меримся, кому от краю.

Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.

— Мой конец,— сказал старик,— мне от краю.

— Ну, а моя околь,— протянул Филипп,— самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.

— Бреди за ним по чужому броду,— указал он Кареву на старика,— меряй да подымай косу.

Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь: на них прилип слет трав и роса.

— А коли побредешь,— пояснил старик,— так держи прям и по цветкам порови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.

Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику — три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее.

По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.

Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.

Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.

На рассвете ярко, цветным гужом по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.

Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.

— Вж... Вж...— неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.

Пахло травой, пóтом и, от слюнявых брусниц, глиной.

— Ох и жара! — оглянулся Филипп на солнце.— До спада надо скосить. С росой-то легче.

Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой озеру и стал ополаскивать.

Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.

Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.

Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло. как плеть, что-то серое, и по косе алой струйкой побежала кровь.

— Утка, поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.

Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.

С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.

Прось, обратилась к высокой здоровенной бабе. ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим

Костры задымили, и мужики бросили косить.

Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.

Дед Иен, погоди! крикнул отставший Филипп. Дакось понюхаем из табатерки-то.

К вечеру по окошенному лугу выросли копны. и ба бы прошагали обратно домой.

Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.

Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.

Эво, что захотели! — тыкал в нос щепоть зелено го табаку.— Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы — приходи любоваться.

— Ну и ты соври что-нибудь,— засмеялся Филипп.- Ты думаешь мы поверять, что ль, будем.

Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.

— Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть. Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да, тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отопри-де,

поп, ворота». Глазеет поп. Иван почесал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только, каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса. Так и так, грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хрындучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. «К ирхирею, гарчит, побегу скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает» Спугался я за тебя и порешил ее».— «Молодчина,— похвалил его поп.— Вот тебе еще сто рублей».

Дед Иен кончил и совал в бок соседа.

— Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.

Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками.

Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.

Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку.

Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди.

— Ай да старик! — засмеялись бабы.

— Ах ты, юрлов купырь! — ухмыльнулась Просинья.— Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.

Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.

Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу

Просинья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.

С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.

Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.

Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.

Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.

Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.

Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.

«Не выскочила ли? — подумал он. — Кажется, никуды не ховал».

Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и сквозь дырочки стали смотреть...

— Ишь где оставил, — гуторил про себя Иен, — забывать стал... Эх-хе-хе!

Он открыл крышку и зацепил щепоть... Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.

В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.

— Ах ты, нехолявая! — ругал он Просинью. — Погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах.

— Сено перебивать! — закричали бабы и бросились врассыпную по долям.

Карев взял грабли и побежал с Просиньей.

Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.

— Ты куда же? — крикнул ей Филипп. — Там ведь Просинья.

Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.

— Труси, труси! — кричал ей издалека Карев. — Завтра навильники швырять заставим.

Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.

Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.

— Ты ступай вперед, — сказала она ей, — а я здесь догребу.

— Ишь какая балмошная! — ответила Просинья. — Так и норовит по-своему.

— Девка настойчивая, — шутливо кинул Карев.

— Молчи! — крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.

Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, заполыхал сарафан.

— Догонит, догонит! — кричала Лимпиаде с соседней гребанки баба.

Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.

Лимпиада почувствовала, как забилось ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.

В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал:

— Будя...

Глава четвертая

Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.

Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.

Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.

Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.

Приподняв картуз, Карев побрел за ним.

Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки.

Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.

Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.

— Пей,— нукал он свою палку, волк пришел, чуешь — пахнет? Поди сюда, поманул он пальцем Карева.

Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.

— Ты поп? — бросил он ему, сверкая глазами.

— Нет,— ответил Карев,— я мельник.

- Когда пришел? замахал он раздробленной палкой по траве.

— Давеча.

— Дурак.

Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами.

Разве есть давеча? Когда никогда нонче. Дурак, - крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног поскакал на гору.

— Отгадай загадку. гаркнул он, взбираясь на верхушку: — За белой березой живет тарарай.

— Эх, мужик-то какой был! — сказал, проезжая верхом, старик. Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена... «Это, грил, враки, что бог на небе живет». Попортился. А може, и бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти

книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги. Ин, можа, и к лучшему, только про бога и шамкать не надо.

Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:

Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я.

С горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.

Кто-то, махая мотней, нес, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.

На скошенной луговине, у маленького высыхающего озера, кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.

Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.

«Ух, сколько!» — ужахнулся про себя и стал раздеваться.

Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.

Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.

Щуки бились, и надутые половинки означались как обрубленные ноги.

— Вот и уха, — крякнул он, — да тут, кажется, лини катаются еще.

Не спалось в эту ночь Кареву.

«Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.

«Нет, — подумал он, — не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо, — кружилось в его голове, — так делать, как делаешь слеги к колымаге».

Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я, хвастал...» — кольнула его предсмертная исповедь.

Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер завился сильней, и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло.

Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.

— Горим! — крикнул, почесываясь, парень.— Пожар!

Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.

Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село.

— Эй, э-эй! — прокатилось.— Вставай тушить!

К шалашу подъехал верхом Ваньчок.

— Филипп! — гаркнул он над дверью.— Ай уехали?

— Кистинтин здесь,— прошамкал, зевая, дед Иен.— Что горит-то?

— Попы горят,— кинул Ваньчок.— Разве не мекаешь по кулижке?

— Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.

— Ты что, разве с пожара? — спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.

— Там был, из леса опять черт носил, целый пятирик срубили в покос-то.

— Кто же?

— Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то,— перебил разговор он,— на семь или на шесть?

— На семь с половиной,— ответил Карев.— Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.

— Ого,— протянул Ваньчок,— попаритесь. Липката, чай, все за ребятами хлыщет,— потянул он, разглаживая бороду.

— Не вижу,— засмеялся Карев.— Плясать вот — все время пляшет.

— Играет,— кивнул Ваньчок.— Как кобыла молодая.

Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.

— Чайничек бы догадался поставить,— обернулся он, слезая с лошади.

— Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.

Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.

Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.

Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.

Мужики, столпившись около коровьих загонов, на корточках, разговаривали о чем-то и курили.

Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»

Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середке увидели две барахтающиеся головы.

Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.

— Спасайте,— крикнул кто-то,— чего ж глазеть-то будем!

Но, как нарочно, в подвозе ни одной не было лодки.

Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.

Филипп скинул с себя одежу и телешом бросился на мост.

Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.

Но заметить было нельзя, их головы уже тыкались в воду.

Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледномертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.

Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.

Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.

Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.

Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.

Он задыхался, быстрина сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.

Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.

Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?

Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.

— Батюшки,— крикнул перевозчик,— мертвые!

Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.

На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке. В лодке на беспорядочно собранном неводе лежали два утопленника.

С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.

— Откачивай, откачивай! — кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.

Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.

— Что ты, родимец те сломай, уродуешь его? — подбежала какая-то баба.— Дакось я те стану ковырять морду-то!

— Уйди, сука,— замахнулся мужик кулаком.— Сам знаю, что делаю.

Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.

Из носа Филиппа хлынула кровь.

— Жив, жив! — замахали сильней еще бабы и стали бить кругом ладошами.

— Что, стерва,— обернулся мужик на подстрекнувшую к нему бабу,— каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надыть.

— А за что?

— Не лезь куда не следует.

Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.

— Рубахи? — обернулся он к мужику.

— Там они, не привозили еще.

Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.

— Пей,— поднесла она, наливая кружку Филиппу.— Уходился, ин лучше станет.

Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.

Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.

Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.

Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.

— Прикрой свои хундры-мундры-то,— подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала свою шаль.

Его трясло, и солнцепек, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.

С подтянутого парома выбегали приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.

С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.

— Ничего, ничего,— говорил, поддерживая его, мужик,— к вечеру все пройдет.

Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.

Глава пятая

— Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь! — говорил, хлебая чай, Ваньчок.

— Болтай зря-то,— вылез из шалаша дед Иен.

— Сичас только Ляля приехал.

— Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.

— Эй, заспорили! — гаркнул с дороги мужик.— Не слыхали, что Филька-то утонул.

— Мели,— буркнул дед.

— Пра.

Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал завертывать папироску.

— Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.

И начал рассказывать по порядку, как было.

— И ничего,— заметил он.— Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.

— Полежит, это рай! — протянул дед Иен.— А то б навечно отпразился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.

— А вправду это черт возит воду на них? — прошептал подползший малец.

— Вправду? Знамо ненароком.

— Мне так говорил покойный товарищ — водоливом были вместе,— что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.

— Кто это? — переспросил малец.

— Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.

Дед поднял шапку и обернулся к зареву.

— А прогорело,— сказал он, зевая.

— А как же обманывает-то? — спросил Ваньчок.— Ведь небось не сразу узнаешь.

— Эва,— протянул дед Иен.— Разве тут помнишь чего!

Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то — я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся — нет Совы. Пойду спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу — лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сичас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.

Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.

«Упал, говорит, я как будто с неба на землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб». А распутный был,— добавил дед Иен, кутаясь в поддевку.— Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.

«Эх! — говорит.— Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, говорю, Василиса моя премуд-

рая, я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили...» Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грит, молебен, такой-сякой, это царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».

— Тпру! — гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.

— Вот он,— обернулись они.— На помин легок.

— Здорово, братец! — крикнул, подбегая, Карев.

— З-з-здорово, — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп.— От-от-отвяжи п-поди вож-жу-у...

— Ну, крепок ты,— поднялся дед Иен.— Вишь, как не было сроду ничего.

Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух.

— Ты ложись лучше,— уговаривал дед Иен. — Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.

Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив, веретьем.

Филипп поднимался и старался схватить его за ноги.

— Голубчик,— кричал он,— за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил! — произнес он с всхлипываньем.— Из чужого добра бил... лесу жалко стало...

— Будя, будя,— ползал дед Иен.— Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.

Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.

От пожара нагоревшее облако поджигало небо.

Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.

— За что он бил-то тебя? — переспросил около дверки деда Иена.

— За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, знычит.

Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны, и не услышит при ветре-то. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-пре-

здоровых. Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал рубить, хвать он меня за плечо и давай валтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп,— говорю, затулившись в мох,— пусти ради бога меня». Услышит это он мой голос — и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.

Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».

Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Постращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.

«Прости,— говорил мне еще,— горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.

В частый хворостник в половодье забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.

Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.

В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля.

Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав реки на этот остров.

Косули услышали плеск воды и сквозь оконцы курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.

Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.

Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде.

Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла

востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свеси лась за белевшим мохрасто цветком.

Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, по бежал за кусты: на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке.

Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почу ял запах дичи.

Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вы тащил из шалаша два ружья.

— Скорей, скорей, — шепотом зашамкал дед Иен, косули на острове. Бегим скорей.

У таганов ходила в упряжи лошадь Ванькча, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.

Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.

Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно.

— Шути, — ухмыльнулся дед, надевая рубаху. — Как смажем этих двух, и рты разинете.

— Куда? — поднялся заспанный Ваньчок.

— За дровами, — хихикнул Филипп. — На острове, кажут, целые груды пятириков лежат.

Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.

— И к чему человек живет, — бранился дед, — каждый день пьяный и пьяный.

— Это он оттого, что любит, — шутливо обернулся Карев. — Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду

— Лимпиаду, — членораздельно произнес дед. — Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще под стать.

Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.

Но в душе его гладила, ласкае, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.

— Брось, сказал дед, — я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Россию обходил, а мы дальше Питера ни чего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.

Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.

Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.

Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.

— Бреди,— показал он знаком и вышел, горбатясь, на траву.

— Ты с того бока бугра, а я с этого,— шептал он ему,— так пригоже, по-моему.

Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.

Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.

Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.

— Ваньчок, Ваньчок,— будил дед, таская его за волосы.— Встань, Ваньчок!

Ваньчок потянулся и закачал головою.

— Ох, Иен, трещит башка здорово.

— Ты глянь-кась,— повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косулю.— Другую сейчас принесут. А ты все спишь...

Ваньчок слез с телеги и стал почесываться.

— Славная,— полез он в карман за табаком.— Словно сметаной кормленная.

С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.

— Ты со мной едем! — крикнул он Ваньчку.— Навивать копна станешь.

— Ладно,— ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.

Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.

— Шевелись, шевелись! — гаркала ей Просинья.— Полно оглядываться-то. Авось не подерутся.

С тяжелым возом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.

После воза метчик обдергал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.

Скрипели шкворни, и ухали подтянутые усталью голоса.

К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.

Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.

— Шабаш,— крякнули все в один раз,— теперь, как бог приведет, до будущего года.

Роса туманом гладила землю, пахло мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня.

В бору чуть слышно ухало эхо, и шомонил притулившийся в траве ручей.

Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.

Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.

На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.

— Ждешь?

— Жду! — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.

— Фюи, фюи,— стучала крошечным носиком по коре березы иволга...

Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.

«Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...

«Дошла, дошла,— стучало сердце.— Где была, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»

На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан. Филипп, склоняясь над телегой, подмазывал дегтем оси.

— Ты бы, Липка, грибов зажарила,— крикнул он, не глядя на нее,— эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!

Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги.

Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду.

Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос на-

сыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.

К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.

— Тут Лимпиада-то? — кисло поморщился он.— Я заезжал, их никого не было.

— Нет,— глухо ответил Карев.— Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.

— Чего входить,— ответил Ваньчок.— Дела много: пастух мой двух ярок потерял.

— Найдутся.

— Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.

— Ишь какой скупой! — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.

— Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился — ни капли не возьму в рот.

— Ладно, ладно, посмотрим.

— Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.

Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.

— Да ты трезвый никак! — удивился он.

Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.

— Не вызрела еще,— нагнулась Лимпиада,— зря напушил только. Целую поставню загубил.

— Мало ли ее у нас,— кинул с усмешкой Филипп,— о крошке жалеть при целом пироге нечего.

— Ну, как же? — мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.

Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас.

Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.

— Не говорил еще,— зашептал Филипп,— не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.

— А ты мотри за ней, кабы того... Мельник-то ведь прощелыга. Живо закрутит.

Филипп обернулся к окну и отворил.

— Идет, — толкнул он заговорившегося Ваньчка.

Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.

— Распутывай, Ваньчок, — сказала, улыбаясь, она. Буду ткать, холстину посулю.

— Только не обманывать, — сел на корточки он. Уж ты так давно мне даешь.

— Мы тогда сами отрежем, засмеялся Филипп. — Коли поязано, так давай подавай.

Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.

Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.

И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее, — так ей сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.

Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева. идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.

Ей больно было потерять Карева. но еще больней было уходить с ним.

Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть...

— Стой, стой! — крикнул Ваньчок. — Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.

Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.

— Ты долго меня будешь мучить! — закричал Филипп. — Видишь, кошка опять лакает молоко.

— Брысь, проклятая! — подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам. — А славно, как настоящая сметана.

— И нам-то какой рай, — засмеялся Филипп. — Вытянул кошкин сшв-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.

— Ладно, — протер омоченные усы. — Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.

В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.

Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.

— Ай, ай! — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно.

Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.

— Чукан, — крикнула она собаку. — Вчизи, Чукан!

Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.

Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.

— Вон, вон она! — указывая на сосну, приплясывала Лимпиада. — Скорей, скорей лезьте!

Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.

Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.

— А, проклятая! — говорил он, цепляясь за сук. — Заскулила! Погоди, мы те напарим.

Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.

Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.

— Брысь, проклятая, брысь! — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.

Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве.

— Вот проклятая-то, — приговаривал, слезая, Ваньчок, — прямо в голову норовила.

Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв.

Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.

— Заела, проклятая, заела, — проговорила она жалобно. — Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.

— Да, кошки бывают злые, — сказал Филипп. — Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, говорит, гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот, бежит за

мной не отстает. Приехал на мельницу и он тут Пошел к сторожу и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу так, мол, и так. «Берегись, грить, человече; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку» Когда стали ложиться – то я прыг да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели. «Вылезай,— кличет сторож. Наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый».

Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.

– Куда? – крикнул Филипп.

- До яру,— тихо ответила она и побежала в кусты.

Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым: щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи.

«Что я скажу? – думала она.— Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».

Коротайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.

— Пришла? — с затаенным дыханием спросил он.

— Пришла,— тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.

Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.

— Ну, говори, моя зозуленька,— прислонился губами к ее лбу. – Я тебя буду слушать, как ласточку.

— Ох, Костя,— запрокинула она голову,— люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.

– Что ж, грустно поник Карев,— и я с тобой буду ждать.

Она обвилась вкруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Тяжба с помещиком затянулась. и на суде крестьянам отказали.

— Подкупил,— говорили они, сидя по завалинкам, как есть подкупил. Мыслимо ли за правду в глаза наплевали! Как бог свят. подкупил

Ходили, оторвав от помела палку. огулом мерить Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду

На беду появился падеж на скотину

– Сибирка, говорили бабы. Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой: от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит

– Ты, батюшка, крест с нас сымаешь! кричали мужики. Мы будем жаловаться ирхирею.

Хоть к митрополиту ступайте. ругался поп. Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете вас много, так с вами и сладу нет.. Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

— Ладно, ребята, - с кроткой покорностью сказал дед Иен,— мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого закоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха

головой о стенку и с пеной у рта отдала богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погребка соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

— Видишь?

— Нет,— глухо она отвечала.

После обхода с сохой на селе болезнь приутихла, и все понемногу угомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

— Только хотел орешину сорвать,— говорил он,— как подокрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

— Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

— Житья нет! — кричал он.— Так теперь и терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

— Моя собственность! — грозил он кулаком.— Права не имеете входить; и судом признано — моя!..

— Бей его! — крикнул дед Иен.— Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и, как подкошенный, упал в овраг.

— Бегим, бегим! — шумели мужики.— Кабы не увидали!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине. лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку погуторить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют»,— подумал он и побежал что силы вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

— Зря спугались,— пробасил неожиданно кто-то за его спиной.— Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

— Молчи, не гуторь! — подошли все, окружив его.— Помещика укокошили. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

— Как же теперь? — глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

— Так теперь,— отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова.— Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видали.

— Следы тогда надо скрыть,— заговорил Филипп.— Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

— Знамо, лучше разбресться,— зашушукали голоса.— Теперь небось спохватились.

По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.

. . . .

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону

— Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.

— В Пасике, ваше благородие,— ответила она.— Послать или сами пойдете?

— Сам схожу.

— Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

— Борис Петрович! — крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

- Горячий еще! — крикнул вслух.— Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!

— Проехали, - свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. - Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

Беда. Костя, – сказал он. Могила живая
Что такое?
Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

– Пристав поехал.

Пристав, протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почуяла, как упало ее сердце, она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон

– Куда, куда ты? – замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

– Вот сумасшедшие-то! – ворчал он, сердито громыхая щеколдой. – Видно, нарваться хотят

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

– Живо, сход, живо! закричал он. Ах вы, оглоеды проклятые, убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустилась стучать под окна.

– А... пришли! – кричал он на собравшуюся сходку. Пришли, живодеры ползучие!. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною, сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

– А... не сознаетесь, нехристи! скрипел он зубами. – Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! крикнул он уряднику. Завтра же пришло казаков. Я вам покажу! тряс он кулаком в воздухе

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

Понюхай, моя родная, произнес он вслух Может, боле не придется.

Ты чего так шумишь-то? подошел он, пристально глядя на пристава. У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке то Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься Ишь ты тоже, какой липоед!

Тебе что надо? гаркнул на него урядник

– Ничего мне не надо, усмехнулся дед Я говорю, что я убил его и никого со мной не было

Глава вторая

– Не тоскуй, касаточка,— говорил Епишка Анне.— Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожалиться.

— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

— Пей и ты.

— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец.

— Ишь какой! — провел корюзлым пальцем по губам его Епишка. – Глаза так по-Степкину и мечут.

Анна вынула его на руки и стала перевивать.

— Что пучишь губки-то? — махал головой Епишка.— Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать: зубы его скрипели; выплюнул в тряпочку, завязал узелок и, поднес к тоненьким зацветающим губам

— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил. Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В капаве седня дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

— Ничего, подлец, не понимаешь,— возился на коленях Епишка,— хоть и смотришь на меня... Ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой. Так, так, раба божия Аннушка,— встал он.— Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье. Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

– Он-то ведь, бедный, несмысленый... Ничего не знает, ни в чем не виноват. Аннушка бедна, Аннушка

горька,— приговаривал Епишка, сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалимская... У гроба господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и не на минуту не задумается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

— Зубов нет,— шамкает побирушке,— деснами кусаю, кровью жую...

— Телом своим причащаешься,— говорит побирушка.— Так ин лучше богу заслужишь...

Ходят морщины желтые, в ушах хруптит, заглушает.

— Берегешь копеечку-то? — спрашивает искоса побирушка.

— Берегу — всю жизнь пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

— Соснуть бы не мешало,— крестится побирушка.

Приминая траву, коротайку под голову положила. Мягкая она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские блястятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» — голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я»,— думает.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксиво иволга. Тени облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень господня над бором ползает.

— Господи,— шепчут выцветшие губы,— помилуй меня грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных»,— гудит в ушах.

— Тетенька,— будит прикорнувшую побирушку.— встань, тетенька.

— А-ат? — поднимается нищенка.

— Бедная ты, бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут. Ни сумы, ни сапог, в писании сказано...— плачет. Упокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксиво иволга.

— Идем,— подвязывает лапти побирушка,— провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.

В осиннике шаги аукают.

— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне... Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

— Что молчишь-то? — дергает ее за руку.

— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

— То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. Нахапите с чужой крови-то, а потом раздаете. Ишь и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас. Знаем!..

— Лазарь, ты мой Лазарь,— срывается кроткий шепот.— Ничего у бога нет непутевого,— ударяет клюкой по траве.— Все для человека припас он... От всего оградил. Человек только жадничает.

— Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснились. Чай, с снохами-то неладно жила? — пытливо глядит ей в глаза побирушка.

— Нет, родная, никого не обижала.

— Врешь поди.

— Я к мощам иду,— тихо шепчет.— Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи бога, не введи во искушение,— поют на клиросе.

— То-то, вот вы такие и искушаете,— сердито машет палкой.— Святоши, а деньги кроете.

— О-ох... Устала...— опускается на траву.— Прогневаю бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка.

— У-у-у...— защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

— Отдай деньги, проклятущая...

— Фюи, фюи,— гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползало сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

— Так, святой отец,— говорил Анисим.— Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать. Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть как хочет живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку, зорко заставила следить.

— Нет тебе счастья и талана,— сказала она,— ползай, как червь, по земле, если бросишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал,— будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать. На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.

— Поди,— сказала ему тетка,— тебя девки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

— Кто? — окрикнули его парни.

— Свой.

— Нет, не свой,— заговорил кто-то.— По ухватке видно — не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...

— Невесту, что ль, выглядываешь? — спросил гармонист.

— Невесту,— тихо ответил Степан.

— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

— Ладно,— сказал Степан,— поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

— Не хватает, не надо,— кивнул гармонист.— Мы не такие уж глоты.— Завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.

Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.

Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

— Пусти ты,— отпихивалась она.— У, какой безотвязный... пусти!..

— Не пущу,— прижимался к ней Степан.— Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери,— говорил он утром о приданом.— Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

— Да чья она? — спрашивала тетка.— Куда идти-то мне?

— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

— А, ну теперь знаю. Ишь какую метишь,— она ведь писарева...

— Отдадут — сама говорила.

— То-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

— Ты что, Марьяна? — спросила писариха и поманула ее ладонью.

— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким...

— А,— протянула писариха.— Что ж, разве он не женат еще?

— Нет.

— Мы было хотели ведь погодить, с приданым никак не собрались.

— Да мы и немного берем-то.

— Сколько?

— Да как тебе сказать, не меней сотни.

— Ладно,— кинула в заслон мочалку,— сговорено.

— А он-то,— указала она на спящего на лавке писаря,— как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.

Глава третья

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в сединах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос.— В ожиданьях только погибель. Или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихорь?»

«Нет, все не то,— подумал он.— Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навись брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

— Дождь фартуком собирала,— сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхать с мокрых штанов грязь.

— Иди, замою... Филиппа нет,— обняла его за плечи.— Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатилась вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневшись, качала ногами.

— Костя,— притиснула она его голову,— милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

— В остроге сидит, сердешный,— говорил он.— Скоро, наверно, погонят.

— Жалко,— вздыхала Лимпиада,— хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

— Милая,— нежно протянула руки,— где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.

— Ты убил...— покосился с пеной у рта пристав,— ты убил?..

— Я,— отозвался дед Иен.— Говорю, что я.

— Связать его! — крикнул он мужикам.— Да с понятыми в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

— Вяжи покрепче, Петро,— сказал он мужику,— а то левая рука выскочит.

— Ладно,— мотнул головой Петро,— ты больно-то не горячись, мы ведь для блезиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

— Эй,— крикнул грозно Петро,— ты что делаешь! — и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

— Ты не хрундучи! — затопал пристав.— Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

— Видал?..— показал ему кулак Петро.— Мы такую шваль-то видывали.

— Молчать! — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.

— Ой, караул! — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

— Ну, дед, сиди,— сказал Петро,— а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

— Прощай, Петро,— обернулся дед, подавая развязать руки.— Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.

— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

— Помнишь?

— Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

— Жалко,— ворчал Петро,— таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.

— Бабка-то теперича у кого твоя останется? — болезно гуторил сторож.

— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

— «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина,— громко и раздельно произнес исправник.— В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

— На вас креста нет,— зашумели мужики.— Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас,— обернулись все лицами к приставу,— узнавай, кого посылал вчера.

— Мошенники! — кричал пристав.— Мы вас на поселение сошлем!

— Куда хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда Иена привели на допрос под конвоем.

— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

— Да.

— В какую пору дня вы его убили?

— В полдень.

— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

— Все имеем,— закричали мужики.

— Молчать! — застучал кулаком исправник.

— Вам известно,— сказал дед Иен,— болей я говорить не стану.

— Тридцать горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса.

— Кровопийцы! — кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.

— Прошу не буянить,— обратился исправник.— Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

— Братцы,— крикнул староста,— все равно ничего не поделаешь! Угомонитесь на минутку.

— Ишь какой братец заявился,— крикнул кто-то — Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.

— Прощайте, братцы,— кричал он, снимая шапку,— больше не свидимся.

— Прощай,— как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.

— Возьми обратно,— крикнул стражник.— Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

— Поедем,— сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

— Едем,— сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

— Ну и изверги! — говорил Карев.— В глазах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

— Н-но, родная,— потрагивал Карев вожжами.— Тут, чай, за спуском недалече. Ну, как же ты думаешь? — спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза.— Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

— Какое бесцветное небо,— сказала она после долгого молчания.— Опять гроза будет.

Глава четвертая

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.

— Милый, ты о чем-нибудь думаешь? — спросила она.— Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

— Любая моя белочка,— говорил, лаская ее, Карев.— Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь погибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь,— сердце ничего не теряет.

— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно,— сказала Лимпиада.— Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива и ты.

— Эй вы, голуби! — крикнул Филипп.— Полно вам

ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

— Дешево же ты, воробей, платишь,— засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась богу.

— Здорово, бабушка.

— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее.

Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.

— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

— Помрет,— сказала.— Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

— Бабушка, обмани хоть меня,— рыдая, судорожно забилась.— Не отнимай надежду мою.

— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышла на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

— Заря-заряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, господи, его скорби изо всех жил, изо всех член.

«Умрет, умрет,— колола тоска Анну.— Опять одна... опять покинутая...»

— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

— Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

— Где была, куда бог носил? — подошел он, заглядывая на ребенка.

— На заговор ходила.

— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... один носик остался. Ты не плачь, Аннушка,— обратился он к ней,— а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

— Ты, голубушка, не убивайся так, может, господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

— Карев ушел,— сказал Филипп.— Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться,— ответила Лимпиада.— Верно, после выручки.

— Экий расслоняй, все время бегает по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

— Я хотел с тобой поговорить, Липа,— начал Филипп.— За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...

— На что мне они, его деньги? — бросила Лимпиада.— Ими горло ему надо засыпать.

— Ну, как хошь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

— Пожар,— сказал Филипп, указывая на огненную осину.— Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо,— с сверкающими глазами подумала Лимпиада,— Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

— Епишка,— окрикнула она его,— поди почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро замахал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.

— Дзинь-дзинь,— позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

— Коняш, коняш,— захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.

Как будто ожог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимала к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислонила к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

— Ах! — вскрикнула она и ухватилась за сердце. Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну — и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.

— Зовет, — крикнула она, — умереть зовет! — и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

Глава пятая

Сказал старый Анисим игумену:

— Пусти меня домой, ради бога, ноет вот тут, — указывал он на грудь. — Так и чую, что случилось неладное...

— Иди, бог с тобой, — благословил его игумен. — Святые отцы и те ворачивались заглянуть на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зеленями шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает — что-то там дома творится?

Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поравнялся, спрашивать стал:

— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?

— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь,— лику твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.

— Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба божьего Сергея.

— Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, приими наши святые славы,— шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.

— Здорово, дедушка,— встретили его у околицы ребятишки.— Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.

— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.

— Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сгорбившись, поплелся мимо окон; ребятишки растерянными глазами провожали.

Прохожие останавливались.

— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя,— встретила у ворот соседка.— Поди закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

— Как тебя бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу взошел Епишка.

— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

— Присаживайся,— подставила хозяйка скамью,— гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу,

ей-богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то когда хошь приют даст, жить бы надо, да что-то как жестянка ломается жизнь моя, и не моя одна. Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

— Убежишь,— засмеялась старуха.— Не лезь уж, куды не надо. Так живи.

— Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое Рождество он писал домой, что живет слава богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

— Возьми меня, дедушка, ради бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал головою.

— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше вот что я тебе посоветую, выписывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

— Родной ты мой,— упал Епишка на колени.— Спаситель, как мне тебя благодарить?

— Встань, Епишка,— сказал Анисим.— Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

— Нет,— всхлипнул Епишка,— разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.

— Отец ты мой родной,— приговаривала, пришлепывая губами.— Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

— Ты посмотри,— указал Епишка на разрубленный палец.— Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится и рубанок не стругает... Отцапал ведь до самой кости.

Анисим решил подождать жену Епишкину. «Пропьет еще все,— думал он.— Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

«Как же так? — думал Епишка.— Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо! — думал он.— Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал — тридцать».

«Как же она замуж вышла? — спрашивал себя.— И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая,— думал Епишка,— ни на меня, ни на мать не похожа».

— Ты теперь брось пить-то,— говорил Анисим.— А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

— Дедушка, ей-богу, одну рюмочку с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почмокалась.

— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи,— говорила Марфа отцу,— пахать станем.

— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька,— говорил Епишка.— Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха-то твоя не вернулась?

— Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлебу насущному читает.

И опять все как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

— Слава тебе, Христе боже наш, слава тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обропили вербы четки зеленые, краснотой подернулись листья — удила шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ноченьку поют.

Прощай, ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чудному. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

— Марфунька,— кричал он, запихивая в землю скрябку,— воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

— Что это с Епишкой-то сталось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться. Всю дорогу без отдышки бежал.

— Так ин, — говорит,— лучше бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

— Ты кобылу-то купишь — через три года две лошади, ой, ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

— Жисть свою пропиваю! — кричит Епишка.— Хоро-

шая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфенька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой на славу».

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

— Отослал Иенке денег ай нет? — спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

— Отослал... сам возил, прощаться ездил.

— То-то долго-то.

— Да.

— Ну, входи,— сказал Филипп.— Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

— Принес? — спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

— Ну, ты что ж молчишь? — обратился он к Ваньчку.— Рассказывай что-нибудь.

— Чего рассказывать-то? — протянул Ваньчок.— Все пересказано давно.

— Ну,— засмеялся Карев,— это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.

— Лучше Фильке пойду подсоблю,— сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

— Идешь? — спросил глухо он.— Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

— Иди, я не пойду.

— Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.

— Не уходи, милый Костя, ради всего святого, пожалей меня.

— Нет, я не могу оставаться,— сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

— Ты что же, совсем уходишь?

— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

— Ох! — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться»,— мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница»,— шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.

«Господи,— упала она перед иконой,— научи!»

На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке,— в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.

Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях и вырубях сверкала вода.

— Тут надо бы примерить,— сказал староста.— Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада — и около нее разбитая чашка.

— Отравилась!..— крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудряву косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

— Ох, ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.

— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.

— Я, дя-аденька, ни при чем,— плакал Юшка.— Вот те Христос, не виноват...

— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:

Эх, да как на этой на веревочке
Жисть покончит молодец...

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

— Это он! — крикнул с брызгами пены у рта.— Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова закружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп, — подумал Карев, — на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

— Ку-гу, ку-гу... — шомонила за мельницей сова.

⟨1915⟩

У БЕЛОЙ ВОДЫ

Рассказ

1

Лето было тихое и ведренное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было

Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту сторону, где, чернея, торчали камни на выветренном месте, то на молочное небо.

Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.

Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.

Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.

Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая

это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.

Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.

В Палаге проснулось непонятное для нее решение... Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него так же, как в первый раз, трепетала вся.

Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!» — прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидывая платья с себя, бросилась с берега в воду.

Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение,— думала она,— молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала: «Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»

Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от Белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.

Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее

мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.

2

По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипала к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.

— Ты эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то... а? — спросил он, лукаво щуря на нее глаза.— А то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?

Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал проходу.

— Таперича я знаю,— ты чья,— сказал он, пристально вглядываясь в лицо,— ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь... так оно и есть... Я тибе ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, кык я ны тибе пыгляжу. Эн лицо-то какое смазливое.

Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:

— Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают.

Парень обидчиво приостановился и выругался:

— Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!

Палага, обернувшись, захохотала:

— А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?

Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил.

— А должно, плохо биз мужа живетца-то,— говорил он,— я, хошь, к тибе приходить буду?

— Приходи!

Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.

Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею.

Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону.

— Не нужно,— сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась опять на траву.— Не нужно, тибе говорю!

Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол, к дому.

Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькавший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука.

Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.

Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти,— казалось, парень где-нибудь притаился во ржи у дороги и ждет.

Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и, прислушавшись, откуда скрип колес, пошла навстречу.

Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до Белой воды. Баба, сидевшая на

передней телеге, остановила лошадь и покачала головой:

— Каг же зто ты ни пужаисси-то? Ночь, а ты бог знаить анкедова идешь... По ржам-то ведь много слонянотца, лутчай подождать бы.

— Я ждала,— тихо ответила Палага,— привязался тут ко мне один еще с вечера. Все во ржи сидела, ждала, хто поедить...

— То-то, ждала.

Когда баба под спуском на Белую воду повернула в левую сторону, Палага слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на ногах озябли, но она не обращала на зто внимания, ей было приятно сознавать, что грех она все-таки поборола.

Вдруг вся она похолодела: парень сидел на крылечке ее избы и, завидя ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, уже был подле нее и схватил за руки.

— Ты штошь эфто,— говорил он, осклабивая зубы,— сперва дразнишь, а потом хоронисси?.. Типерь не отпущу уж тибе, кричи не кричи — моя.

Палага стояла с широко раскрытыми глазами; то, что ее давило, снова стало подыматься от сердца; и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла, взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него. Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на ее колени; она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая струйка крови.

— Да ты штошь, этакая-разэтакая, долго будишь ныда мной издяватца-то?! — крикнул парень и, размахнув рукой, ударил ее по лицу.

И боль в ней вытесняла то, чего она боялась. Посыпавшимся на нее ударам она подставляла грудь, голову; виски ее заломили, она тихо застонала.

Ее опухшее, в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в живот, он поднял свой соскочивший картуз, вытер со лба градом катившийся пот и пошел по дороге в поле.

Солнце поднялось высоко над водой, песок, на котором она лежала, сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались.

Приподнявшись кое-как на локти, она стала сползать к воде; руки царапались о камни, сарафан рвался. У воды,тыкаясь лицом, она обмыла запекшуюся на коже кровь,

немного попила и побрела домой. На крыльце валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верх нюю ступеньку, она села и обессиленно вздохнула.

3

Вода от холода посинела, ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками, река уже не так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела; Палага каждый день ждала мужа, и наконец он вернулся.

В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку, Палага не видела его из окна; она узнала лишь тогда, что он приехал, когда собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться, ноги подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу.

Но она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет, из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь ушла в плечи.

— Што с тобой?! — чуть не вскрикнула она и, скрестив руки от какого-то страшного предчувствия, остановилась на месте.

— Ничего,— болезненно улыбнулся Корней,— захворал малость, вот и осунулся!

В словах его была скрытая грусть.

Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза. Палага легла с ним рядом, сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала, что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла.

Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькою улыбкой покачал головой.

— Силы у меня нет, Палага, болесть, вишь,— и, глядя на ее сочную грудь, на красные щеки, гладил ее плечи и сбившиеся волосы.

С тех дней, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела и даже подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные морщины, кожа пожелтела.

— Надоел я тибе,— говорил, свешивая голову с кро вати, Корней,— измаялась ты вся, так што и лица на тибе не стало.

Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог так говорить. За ту любовь, ка

кую она берегла ему, она могла перенести гораздо больше...

Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему неловко и тяжело было.

Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины и лодки пришло время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына десятского Юшку. Приходило время подправлять попортившиеся за лето верши, и Юшка принялся за починку.

Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук; руки от работы были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало, когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукою.

Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол на пол.

За окном свистел ветер, рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка спал; грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, еще ребяческого лица пахло словно распустившейся мятой. Подобравшись к его постели, она потянула с него одеяло, Юшка завозился и повернулся на другой бок.

В висках у нее застучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи. Осторожно взобралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице его отразилось удивление, но он понял и, вскочив, обвился вокруг нее, как вьюн.

Палага ничего уже не сознавала, тряслась как в лихорадке.

Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было несколько минут назад,случилось уже давно, что времени этому уже много, и ее охватила жалость, ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная память заставила ее встать, она зажгла лампу и начала шарить под столом, на печи и под печью, но везде было пусто.

«Это в душе у меня пусто»,— подумала она как-то сразу и, похолодев, опустилась с лампой на пол.

До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но только она начинала приходить в себя, сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их теперь лег узел, и, глядя на сон

ного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить.

Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее, что задушить ей хочется не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и, заложив руки за голову, начинала ходить по избе.

Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня; пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание.

Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место, где она обмывала свои побои, было занесено снегом. Она вспомнила, насколько она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и голову, и, обхватив за шею стоявшую подле нее собаку, зарыдала.

Собака сперва растерялась, завиляла хвостом, но, почувствовав, что в горле у нее щекочет, завыла; и вой ее слился в один горький и тяжелый крик утраты.

⟨1916⟩

БОБЫЛЬ И ДРУЖОК

(Рассказ, посвященный сестре Катюше)

Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался со своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: «Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем...» Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет — ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба.

Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.

Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы.

Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дружок тут бежит рядом. Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою». Взглянет Бобыль на собаку, взглянет — и словно разгадает ее думы,— тихо-тихо скажет:

— Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.

Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров — ни полена. Глянет Бобыль на Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Скажет Бобыль с нежной лаской:

— Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки.

Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет Дружка, приголубит. Задумается Бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит:

— Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные... Знаю, знаю.. ты все понимаешь...

Устала плакать вьюга Реже стали метели. зазвенела капель с крыши Тают снега. убывают.

Видит Бобыль зима сходит. видит — и с Дружком беседует·

Заживем мы. Дружок, с весною.

Заиграло красное солнышко. побежали ручьи-коло кольчики. Смотрит Бобыль из окошка, под окном уж зем ля зачернела

Набухли на деревьях почки. так и пахнут весною Только годы Бобыля обманули. только слякоть весенняя старика подловила

Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь зада вил поясница болит-ломит. и глаза уж совсем помут нели

Стаял снег Обсушилась земля. Под окошком ветла распустилася Только реже старик выходит из хаты Ле жит он на полатях. слезть не может.

Слезет Бобыль через силу. слезет, закашляется, загрустит, Дружку скажет·

Рано. Дружок, мы с тобой тогда загадали. Скоро уж видно, смерть моя, только помирать — оставлять тебя - неохота.

Заболел Бобыль, не встает, не слезает, а Дружок от полатей не отходит; чует старик — смерть подходит чует Дружка обнимает, - обнимает, сам горько плачет

На кого я, Дружок, тебя покину. Люди нам все чужие Жили мы с тобой... всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает Прощай, Дружок, мой милый, чую, что смерть моя близко, дыханье в груди остывает. Прощай Да ходи на могилу, поминай своего старого друга!..

Обнял Бобыль Дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул — и душа его отлетела.

Мертвый Бобыль лежит на полатях. Понял Дружок, что хозяин его умер. Ходит Дружок из угла в угол,— ходит тоскует Подойдет Дружок, мертвеца обнюхает,— обнюхает, жалобно завоет

Стали люди промеж себя разговаривать: почему зто Бобыль не выходит. Сговорились, пришли — увидали, увидали — назад отшатнулись. Мертвый Бобыль лежит на полатях, в хате запах могильный — смрадный. На полатях сидит собака, сидит — пригорюнилась.

Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, Дружок идет рядом Гонят собаку от церкви

гонят — в храм не пускают. Рвется Дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается.

Принесли мертвого на кладбище, принесли – в землю зарыли. Умер Бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал.

Воет Дружок над могилой, воет, лапами землю копает. Хочет Дружок отрыть своего старого друга, отрыть — и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы. не ест, тоскует. Силы Дружка ослабели, не встает он и встать не может. Смотрит Дружок на могилу, смотрит жалобно, стонет. Хочет Дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у Дружка сжалось... дрожь по спине пробежала, опустил Дружок голову, опустил. тихо вздрогнул... и умер Дружок на могиле...

Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.

⟨1917⟩

ЖЕЛЕЗНЫЙ МИРГОРОД

1

Я не читал прошлогодней статьи Л. Д. Троцкого о современном искусстве. когда был за границей. Она попалась мне только теперь. когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека. но видите ли... видите ли...

Впрочем, он замечательно прав. говоря, что я вернусь не тем, чем был.

Да. я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято. Перевешивает то. что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое преломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. Поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

BOAT «PARIS»[1]

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как посколь зающийся... (Простите, что у меня нет образа для сравнения; я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину.

Я шел через громадные залы специальных библиотек. шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять,

[1] Пароход «Париж» *(англ.)*

через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.

Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.

Милостивые государи!

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах,— я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

ЭЛИС-АЛЕНД

На шестой день, около полудня, показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и ваши «лефы» — как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег но... прежде должны осмотреть паспорта...

В сутолоке сходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго

вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд — небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...

В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в $5^1/_2$ нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они тоже засмеялись.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри,— сказал я спутнику,— это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!

— Мистер Есенин,— сказал господин. Я встал.— Подойдите к столу! — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел.

— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы
Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:

— В бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

— Да.

— Какую признаете власть?

Еще не легче. Сбивчиво я стал говорить, что я поэт и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал:

— Повторяйте за мной: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия».

Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.

— Миргород! Миргород! Свинья спасла!

НЬЮ-ЙОРК

Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: «Ах да, это... тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей» Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтересованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам· «Mi laik Amerika...»[1]

Через десять минут мы были в отеле.

Москва, 14 августа 1923 г.

[1] Мне нравится Америка... *(искаж. англ.)*.

2

БРОДВЕЙ

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.

Америка внутри себя не верит в бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее

Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры.

Что такое Америка?

Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Сейчас Гайавата — этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью

Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам; возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах...

Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша.

Сила Америки развернулась окончательно только за последние двадцать лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия «окраинная дорога»,— «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем.

Перед глазами — море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, против театра, на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом: «Умри, Денис!..» По радио музыка Чайковского из музыкальных магазинов слышится в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается.

что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

БЫТ И ГЛУБЬ ШТАТОВ

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает: перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы, страшно похоже на Россию!) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт — под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на мюзик-холльный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры — народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры.

Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погруждается в «Business»[1] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы — народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки — только честный

[1] Бизнес, дело *(англ.)*.

исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже. и Америка не была бы столь величественной, как сейчас

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, — немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов. В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.

Мани-Лейб — уроженец Черниговской губернии. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил возможность существовать на оплату за свое искусство.

Переводами на жаргон он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.

В специфически американской среде — отсутствие всякого присутствия.

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.

— Слушайте,— говорил мне один американец,— я знаю Европу. Не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?

От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное.

⟨1923⟩

ИЗ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

ЯРОСЛАВНЫ ПЛАЧУТ

«Внимая ужасам войны», в унисон зазвенели струны больших и малых поэтов. На страницах газет и журналов пестреют имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Городецкого, Липецкого и др. Все они трогают одинаковую струну «грянувшего выстрела». Даже «сладко лиричный» Цензор заплясал под солдатскую песню.

Я не стану останавливаться на разборе этих поэтов, перейду прямо к определению того, что дали нам женщины-поэтессы.

Этих избранниц у нас очень немного. И они большею частью закатывались «золотой звездой» на расцвете своего таланта, как Мирра Лохвицкая. Мы еще не успели забыть и «невесту в атласном белом платье» Надежду Львову, но, не уклоняясь от своей цели, я буду продолжать мотать тот клубок мыслей, который я начал.

Плачут серые дали об угасшей весне, плачут женщины, провожая мужей и возлюбленных на войну, заплакала и Зинаида Х. Плачет, потому что:

...Сердце смириться не хочет.
Не хочет признать неизбежность холодной разлуки.
И плачет, безумное, полное гнева и муки...

Но это еще ничего. Хорошо плакать, когда нечего бояться за свои слезы, но вот плачет молодая замужняя женщина, у которой за спиной свекровь, а спереди: «Новую сплетню готовя, две ядовитые дамы».

Она плачет без слез, плачет сердцем, а сердце пла-

чет кровью. Разве не больно на слова милого «Завтра наш полк выступает» «молча к стене прислониться»?

Нет, очень больно.

Это ведь та самая плачет, которую «выдавала матушка далече замуж».

Зинаида Х. не выступила с кличем: «на войну!» Она поет об оставшихся, плачет об ушедшем на войну и в этих слезах прекрасна, как «Ярославна».

Пусть «так надо... так надо». Но она за свою малую просьбу у судьбы с этим смириться не хочет.

Плачет Щепкина-Куперник... ее слезы тоже слезы оставшейся возлюбленной!

Выводя свою ровную строчку,
Просижу я всю ночь напролет.
Всю-то долгую зимнюю ночку
Сон усталых очей не сомкнет.
Сердце мое надрывается.
Кровью оно обливается...
Что я могу еще дать?
Только плакать, молиться и ждать.

Это плачет швея за работой, и ее берет раздумье:

Вот уж скоро работа готова,
Уж немного осталося мне...
Ах, кому ты придешься, обнова,
На далекой, на страшной войне?
Кто тебя, как на праздник, наденет,
Собираясь бестрепетно в бой,
Или после окопов заменит
Всю измокшую ветошь тобой?

Жутко становится от представления, как эту белоснежную холщовую рубаху смочит алая кровь.

Но тихой нежной лермонтовской колыбельной песней веет от слов:

Кто бы ни был мой воин безвестный,
Но с надеждой в работу мою
Я с молитвой царице небесной
Образок освященный зашью.

Но дальше снова слышна печаль, может быть, этот белый холст прикроет ее милого грудь. Но эту сентиментальность она побивает твердым решением:

Не его — не его, так другого...
Для него пусть другая сошьет

Он не останется неприкрытым, потому что она знает:

Сколько женщин от края до края
Наклоняются нынче к шитью,
И дрожит в них душа, замирая,
О любимых далеких в бою..

Но Щепкина-Куперник плачет вообще. Но ее слезы больше слезы матери. Она по большей части томится «в безутешном ожидании» и молится перед иконой. Ее вздохи — вздохи матери Андрия и Остапа, и она грустная, с заплаканными глазами молится о их спасении.

Тихо взгрустнула «у воинского поезда» Белогорская, отдала дань серым шинелям, как женщина, поклонилась до земли и прошептала: «Вы уезжаете»..

А сердце мое, как раненая птица,
Как раненая птица в крови.

Я подслушал, как плачут Ярославны. Но я и услышал, как загремели с призывом Жанны д'Арк. Лишь только разнеслись наши победы казаков, как по струнам своей лиры ударила Любовь Столица.

Так ширяй, казак, и гикай
И неси с победной пикой
В глубь чужих туманных стран
Дух наш орлий, взгляд соколий,
Золотую птицу воли
Из земли младых славян!

Громко крикнула Мария Трубецкая:

Поэты, вам ли теперь молчать?

Могучий голос зазвенел, как набат:

Великой брани мечта, воскресни!

Эта Жанна д'Арк предлагает встать всем поэтам в общем кличе и служить той святыне, за которую

Полки стремятся врага встречать.

Красиво сказала Хмельницкая:

Вы над орлами, разбившими грудь,
В жаркой борьбе не рыдайте.

Здесь, правда, слезы ни к чему, ибо

Гордые птицы не знают преград,
Бурь никаких не страшатся.

Она гордо и сильно говорит в путь ушедшим:

Смело ж, родные, идите вперед —
Головы выше держите!
Ночь умирает, уж близок восток,
Скоро врага вы сразите.

* * *

Я отметил только те стихотворения, которые ясно определили отношения к войне тех и других поэтесс. Я разделил их на два лагеря. В каждом лагере свои законченные взгляды на ушедших. Говорить о высоком достоинстве преимущества тех или иных не приходится.

Нам одинаково нужны Жанны д'Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами.

⟨1915⟩

⟨КОГДА Я ЧИТАЮ УСПЕНСКОГО...⟩

...Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализация народничества 60-х и 70-х годов мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку Для них крестьянин — это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Для того чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревпю. Успенский видел его и на Растеряевой улице. Он показал его не с одной стороны, а со всех. И смеялся Успенский не так, как фальшивые народники — над внешностью, а над сердцем своей правдивой душой, горьким словом Гоголя.

<1915>

О «ЗАРЕВЕ» ОРЕШИНА

Петр Орешин «Зарево» Книга стихов
Издательство «Революционный социализм»

Кто любит родину?
Ветер бродяга ответил господу
Кто плачет осенью
Над нивой скошенной и снова радостно
Под вешним солнцем
В поле босой и без шапки
Идет за сохой
Он господи, больше всех любит родину

Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь. и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни. когда «бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что ис кони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной.

Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву. ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш. иже еси...»

Петр Орешин уже знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и жур налам, но те, которые знают его отрывочно, конечно, имеют о нем весьма неполное представление. У каждо го поэта есть свой общий тон красок, свой ларец слов и образов. Пусть во многих местах глаз опытного чи тателя отмечает промахи и недочеты, пусть некоторые образы сидят на строчках, как тараканы, объедающие корку хлеба, в стихе,— все-таки это свежести и пахуче сти книги нисколько не умаляет, а тому, кто видит, что «зори над хатами вяжут широченные сети», кто слышит, что «красный петух в облаках прокричал», могут показаться образы эти даже стилем мастера всех этих коротких и длинных песенок, деревенских идиллий.

Перед Орешиным еще широкое будущее Гадать о том, разовьется он или завянет, сейчас довольно трудно, но услышавшие от него через «Зарево» о том, что

Месяц ушел в облака
За туманный плетень,
Синие чешет бока
За лачугами день

будут помнить об этом, как о черемуховом запахе, долго

‹1918›

⟨О ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЯХ⟩

..Горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. Жизнь любит говорить о госте и что идет как жених с светильником «во полунощи».

Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады, пламя которой нежно оберегалось от ветра ладонями его взыскующих душ.

Но зато нельзя сказать того, что на страницах этих обоих сборников с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.

Есть благословенная немóта мудрецов и провидцев, есть благое косноязычие символизма, но есть и немотá и тупое заикание. Может быть, это и резко будет сказано, но те, которые в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков, все-таки немы по-последнему.

Кроме зова гудков, есть еще зов песни и искус в словах. На древних дагинийских праздниках песнотворцы состязались друг с другом так же, как на праздниках мечей и копий. Но представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут. Они очень во многом еще лишь слабые ученики пройденных дорог или знакомые от века хулители старых устоев, неспособные создать что-либо сами. Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова:

Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля,
Растопчем искусства цветы.

Уже известно, что, когда пустая бочка едет, она громче гремит. Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти с вчерашней волчьею мудростью века по акафистам Ницше, но все же это сказано без всякого внутреннего оправдания, с одним лишь чахоточным указанием на то, что идет «завтра», и на то, что «мы будем сыты»

Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка, и только лишь чувствует, не стараясь и не зная, с каких сторон опустить на нее свои стопы, еще далек от тени Колумба. Он только лишь слабый луч брезжущего в туман, как соломенный сноп, солнца, того солнца, которое сходит во ад, родив избавление. Он даже и не предтеча, потому что в предтече уже есть петли, которые могут связать. Но до того лассо, которое сверкает в смуглой руке духовного тодаса, далеко и предтече, и потому все, что явлено нам в этих сборниках, есть лишь слабый звук показавшейся из чрева пространства головы младенца. Конечно, никто не может не приветствовать первых шагов ребенка, но и никто не может сдержать улыбки, когда этот ребенок, неуверенно и робко ступая, качается во все стороны и ищет инстинктивно опоры в воздухе. Посмотрите, какая дрожь в слабом тельце Ивана Морозова. Этот ребеночек качается во все стороны, как василек во ржи. Вглядитесь, как заплетаются его ноги строф:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
И чуткую душу тревожат природы тоскующий лик,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник

Здесь он путает левую ногу с правой, здесь спайка стиха от младенческой гибкости выделывает какой-то пятки ломающий танец. Поставьте вторую строку на место третьей и третью на место второй, получается стихотворение совершенно с другой инструментовкой:

Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада,
Не слышно пленительных песен в кустах бесприютного сада,
И чуткую душу тревожит природы тоскующий лик,
И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо приник

Этого даже нельзя придумать нарочно. Такая шат кость строк похожа на сосну с корнями вверх, и все же мысль остается почти неизменной. Конечно, это только от бледности ее, оттого, что мысль как мысль здесь и не ночевала. Здесь одни лишь избитые, засохшие цветы фонографических определений, даже и не узор. Но узоры у некоторых, как, например, у Кондратия Худя кова, попадаются иногда довольно красивые и свежестью своей не уступают вырисовке многих современных мастеров:

Бабушка вздула светильню.
Ловит в одежине блох.
«Бабушка, кто самый сильный
В свете?» — «Сильнее всех бог!»

Лепится кошкой проворной
На стену тень от огня.
«Бабушка, кто это черный
Смотрит в окно на меня?»

Но, увы, это только узор. Того масла, которое теплит душу огнем более крепких поэтических откровений, нет и у Худякова. Он только лишь слабым крючком вывел первоначальную линию того орнамента, который учит уста провожать слова *с помазанием.*

Творчество не есть отображение и потому так далеко отходит от искусства, в корне которого («искус») — отображение обстающего нас. Искусство — Антика; оно живет тогда, когда линии уже все выисканы, а творчество живет в искании их.

Созидателям нового храма не мешало бы это знать, чтоб не пойти по ложным следам и дать лишь закрепление нового на земле быта. В мире важно предугадать пришествие нового откровения, и мы ценим на земле не то, «что есть», а «как будет».

Вот поэтому-то так и мил ярким звеном выделяющийся из всей этой пролетарской группы Михаил Герасимов, ярко бросающий из плоти своей песню не внешнего пролетария, а того самого, который в коробке мускулов скрыт под определением «я» и напоен мудростью родной ему заводи железа.

А здесь на согнутые спины
Взвалили уголь, шлак и сталь.
О, если б как в волнах дельфины,
Без кочегарок и турбины,
Умчаться в заревую даль!

К сожалению, представлен Герасимов в этом последнем сборнике весьма мало. Такие строчки, как, например·

На плащанице звездных гроздий
Лежит луны холодный труп,
И, как заржавленные гвозди,
Вонзились в небо сотни труб, —

напечатанные в «Заводе огнекрылом», обещают в нем

поэта весьма и весьма несредней величины среди своих собратий.

Художественная проза сборников, увы, не заслуживает почти никакого внимания. Повесть «Вольница». Какой-то мутный и бесформенный лепет приемов Потехина и Засодимского, а мелкие рассказы — не то лирические силуэты, не то просто анекдоты из неприглядной и неприбранной жизни, где все лежит не на своем месте, где люди и вещи светят почти одним светом.

Проза пролетарская еще не нашла своих путей, как поэзия. В ней есть лишь от прошлого бледноликий Бибик и совсем слабый от «Нине» Безсалько.

Заканчивая эти краткие мысли о выявленных ликах сборником пролетарских писателей, мы все-таки скажем, что дорога их в целом пока еще не намечена. Расставлены только первые вехи, но уже хорошо и то, что к сладчайшему причастию тайн через свет их идет Герасимов.

⟨1918 – 1919⟩

БЫТ И ИСКУССТВО

(Отрывок из книги «Словесные орнаменты»)

Сии строки я посвящаю своим собратьям по тому течению, которое исповедует Величию образа.

Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям.

Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ это уже все.

Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума.

Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как и необходимое ему оружие.

Искусство это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении.

Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости.

Виды искусства, как я уже сказал, весьма многообразны. Прежде чем подойти к искусству слова, подойдем к самому несложному и поверхностному искусству искусству одежды человека, перенесемся мыслями хотя бы к нашей скифской эпохе. Вспомним тавров, будинов и сарматов.

Описывая скифов, Геродот прежде всего говорит о

их обычаях и одежде. Скифы носят на шеях гривны, на руках браслеты, на голову надевают шлем, накрываются сшитыми из конских копыт плащами, которые служат им панцирями. Нижняя одежда состоит из шаровар и коротких саков. Всматриваясь в это коротенькое описание, вы сразу уже представляете себе всю причинность обряда, и перед вами невольно встает это буйное, и статное, и воинственное племя. Вы уже сразу чувствуете, что гривна ему нужна для того, чтоб защитить от меча врага шею, шлемом они защищают череп, браслетом — кисть руки, плащ же охраняет его бока и спину.

Так же как и в одежде, человек выявил себя своими требованиями и в музыке. Мы знаем, что мелодии родились так же, как щит и оружие.

Действие музыки главным образом отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить и усмирять ее. Эту тайну знали как древние заклинатели змей, играющие на флейтах, так бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя на рожке коровам. Недаром монголы говорят, что под скрипку можно заставить плакать верблюда. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей. Все это уже известно давно, и на этом давно уже построены определения песен героических, эпических, надгробных и свадебных.

Подходя к слову, мы также видим, что значение его одинаково с предыдущими видами требований человека.

Слова — это образы всей предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. Даже то искусство одежды, музыки и слова, которое совсем бесполезно, все-таки есть прямой продукт бытовых движений. Оно попутчик быта.

Что такое теперешние ожерелья, перстни и браслеты, как не сколок с воинственных лат наших далеких предков? Что такое чувствительные романсы, вгоняющие в половой жар и в грусть девушек и юношей, как не действие над змеей или коровой? И что такое слова, как не синие трупики обстановочных предметов первобытного человека? Нет, быт и искусство неотделимы. Фигуры — это уже быт, а искусство есть самая яркая фигуральность.

Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом.

Жизнь образа огромна и разливчата. У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами. Сначала был образ *словесный*, который давал имена предметам, за ним идет образ *заставочный*, *мифический*, после мифического идет образ *типический*, или *собирательный*, за типическим идет образ *корабельный*, или *образ двойного зрения*, и, наконец, *ангелический*, или *изобретательный*, о которых нам отчасти пришлось говорить в нашей книге «Ключи Марии».

Пример словесного образа таков. Сначала берем образ без слова. Перед нами неотчеканенные массы звуков пчелы:

у-у-у-у,
бу-бу-бу

Перед сознанием человека встает действие, которое определяется звуком «бу»; предмет пойман в определение и уже неподвижен, определение это есть образ слова.

Образ заставочный, или мифический, есть уподобление одного предмета или явления другому:

Ветви-руки,
сердце-мышь,
солнце-лужа.

Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений человеческим бликам.

Отсюда Даждь-бог, дающий дождь, и ветреная Геба, что

Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

На нем построены все божественные фигуры, а также именные клички героев у дикарей: «Пятнистый олень», «Красный ветер», «Сова», «Сычи», «Обкусанное солнце» и т. д.

Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних или внутренних фигур при человеке. Внешний образ: «нос, что перевоз». Внутренний образ:

Тверд, как камень,
Блудлив, как ветер.

Корабельный образ, образ двойственного положения:

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез

Он очень родствен заставочному с тою лишь разницей, что заставочный неподвижен Этот же образ имеет вращение.

Образ ангелический, или изобретательный, есть вовлощение движения или явления, так же как и предмета в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. Образ предметного ангелизма ковер самолет и аэроплан, перо жар-птицы и электричество, сани-самокаты и автомобиль. На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство незримой страны «Инония», чувство незримого и неизвестного прихода, как-то: «Гость чудесный».

Итак, подыскав определения текучести образов, уложив их в формы, для них присущие, мы увидим, что текучесть и вращение их имеет согласованность и законы, нарушения которых весьма заметны.

Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.

Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни.

Смею указать моим собратьям, что каждая линия в этом рисунке строго согласуется с законами общего. Климатический стиль нашей страны заставляет меня указать моим собратьям на то, насколько необходимы и непреложны эти законы. Собратья мои сами легли черточками в этот закон и вращаются так, как им предназначено. Что бы они ни говорили в противовес, сила останется за этим так же, как и за правдой календарного абриса в хозяйственном обиходе нашего русского простолюдина.

Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру

Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом, временем и действием стихий. Все эти «Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны.

У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.

У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжко́в, но которые есть ни больше, ни меньше, как ни на что не направленные выверты.

Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность.

⟨1920⟩

ВСТУПЛЕНИЕ

⟨к сборнику «Стихи скандалиста»⟩

Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия.

Стихи в этой книге не новые. Я выбрал самое характерное и что считаю лучшим. Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые.

20 марта 1923
Берлин.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом томе собрано почти все, за малым исключением, что написано мной с 1912 года. Большие вещи: «Страна негодяев», «Пугачев» и др. отходят во 2-й том.

Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. Мне не нужно было бы и писать предисловия, так как всякий читатель поймет это по прочтении всех моих стихов, но некоторые этапы требуют пояснения.

Самый щекотливый этап это моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях.

Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности.

На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка.

Литературная среда 13—14—15 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка, поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отпихиваюсь сейчас руками и ногами.

Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я реалист, и если есть что-нибудь туманное во мне для реалиста, то это романтика, но романтика не старого нежного и дамообожаемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения о Розах, Крестах и всякой прочей дребедени.

Поклонникам Блока не следует принимать это за то, что я кощунственно бросаю камень на его могилу.

Я очень люблю и ценю Блока, но на наших полях он часто глядит как голландец. Все же другие мистики мне напоминают иезуитов.

Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, божьим матерям и Миколам, как к сказочному

в поэзии. Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры, но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.

В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах.

Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться так же, как я могу учиться чему-нибудь другому у других.

1 января 1924

‹О СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЯХ›

За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было так же вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта, но - увы! — на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны, поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюкания со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи.

Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина, - которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу.

Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее, беспристрастными глазами художника.

У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. «Помилуйте,— слышится из уст доморощенных критиков,— да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?»

Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что

они Пильняка не читали Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может. немного лишенный дара фабульной фантазии. но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений У него есть превосходные места в его «Материалах к роману» и в «Голом годе». которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают местам Гоголя Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки

То. что Пильняк сочно описывает на пути своих повестей. как самцы мнут баб по всем рассейским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность Это только его отличительная родинка и совсем не плохая, а. наоборот. – красивая Эта сочность правдива. как сама жизнь.

Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и заграничной прессе Его рассказ «Дитё» переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов. которые литературу вообще считают. если она не ремесло. пустой забавой. Об Иванове установилось мнение как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин Его «Партизаны». «Бронепоезд» «Голубые пески» и «Берег» происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора. на нас веет еще и географическая свежесть Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков. и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен Наряду со своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок.

Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя [1]

<1924>

---

[1] *Далее зачеркнуто* весьма огромное

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ О ПУШКИНЕ

1 Как вы теперь воспринимаете Пушкина?

Пушкин — самый любимый мною поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу. Даже его ошибки, как, например, характеристика Мазепы, мне приятны, потому что это есть общее осознание русской истории.

2 Какую роль вы отводите Пушкину в судьбах современной и будущей русской литературы?

Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было Нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Постичь Пушкина — это уже нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать стиль его словесной походки.

3 Как дать Пушкина современному русскому читателю?

Я не поклонник отроческих стихов Пушкина. По-моему, их нужно просмотреть и некоторые выкинуть. Из зрелых стихов я считаю ненужным все случайные стихотворные письма и эпиграммы, кроме писем к Языкову и Дельвигу

<1924>

В. Я. БРЮСОВ

Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов.

Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха.

Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы.

Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове. Русский символизм кончился давно, но со смертью Брюсова он канул в Лету окончательно.

Много Брюсова ругали, много говорили о том, что он не поэт, а мастер. Глупые слова! Глупые суждения!

После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно. Брюсов был в искусстве новатором.

В то время, когда в литературных вкусах было сплошное слюнтяйство, вплоть до горьких слез над Надсоном, он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:

О, закрой свои бледные ноги.

Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались.

Брюсов первый раздвинул рамки рифмы и первый культивировал ассонанс. Утрата тяжела еще более потому, что он всегда приветствовал все молодое и свежее в поэзии. В литературном институте его имени вырастали и растут такие поэты, как Наседкин, Иван Приблудный, Акульшин и др. Брюсов чутко относился ко всему талантливому. Сделав свое дело на поле поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди сражающихся течений в литературе. Он мудро знал, что смена поколений всегда ставит точку над юными, и потому, что он знал, он написал такие прекрасные строки о гуннах:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позиции разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал.

Очень грустно, что на таком литературном безрыбьи уходят такие люди.

⟨1924⟩

ДАМА С ЛОРНЕТОМ

Вроде письма
(На общеизвестное)

Когда-то я мальчиком, проезжая Петербург, зашел к Блоку. Мы говорили очень много о стихах, но Блок мне тут же заметил, вероятно по указанию Иванова-Разумника: «Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура» Это были слова Блока. После слов Блока, к которому я приехал, впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус — подозрительней. Один только Философов, как и посейчас, занимает мой кругозор, которому я писал и говорил то устно, то в стихах; но все же Клюев и на него составил стихи, обобщая его вместе с Мережковскими.

— Что такое Мережковский?

— Во всяком случае, не Франс.

— Что такое Гиппиус?

— Бездарная завистливая поэтесса.

В газете «Eclair» Мережковский называл меня хамом, называла меня Гиппиус альфонсом за то, что когда-то я, пришедший из деревни, имел право носить валенки.

— Что это на вас за гетры? — спросила она, наведя лорнет.

Я ей ответил:

— Это охотничьи валенки.

— Вы вообще кривляетесь.

Потом Мережковский писал: «Альфонс, пьяница, большевик!»

А я ему отвечал устно: «Дурак, бездарность!»

Клюев, которому Мережковский и Гиппиус не годятся в подметки в смысле искусства, говорил: «Солдаты испражняются. Где калитка, где забор — Мережковского собор». Действительно, колоннады. Мадам Гиппиус! Не хотите ли Лориган? Ведь вы в «Золотое руно» снимались так же в брюках с портрета Сомова.

Лживая и скверная Вы. Все у Вас направлено на личное влияние Вас. Вы пишете: «Основа партии — общее утверждение ценностей» Это Вы пишете. Безмозг

лая и глупая дама. Даже Шкловский помнит, что Вы говорили и что опять пишете: «Крайнюю хату, левую или правую, это безразлично, раз он художник. Такое время». Слова Ваши.

Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь.

Это суждение к нам не подходит. Дорога Ваша ясна с Вашим игнорированием нас. (Хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные.)

Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию. Все равно Вы будете путешественники по стране СССР с Бедекером.

<1924—1925>

ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЫ

ЮНОШЕСКИЕ ПИСЬМА

1. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Константиново, 7 июля 1911 г.)

Дорогой друг!

Гриша, неужели ты забыл свои слова: ты говорил, что будем иметь переписку, а потом вдруг на мое письмо не отвечаешь[1]. Почему же? Пожалуйста, объясни мне эту причину. У нас все уехали на сенокос. Я дома. Читать нечего, играю в крокет. Немного сделал делов по домашности. Я был в Москве одну неделю[2], потом уехал. Мне в Москве хотелось и побыть больше, да домашние обстоятельства не позволили. Купил себе книг штук 25. 10 книг отдал Митьке, 5 Клавдию. Я очень рад, что он взял. Остальные взяли гимназистки у нас здесь в селе, и у меня нет ничего.

2. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Константиново, июнь — июль, до 8, 1912 г.)

Дорогой друг!

...Дай мне, пожалуйста, адрес от какой-либо газеты и посоветуй, куда посылать стихи. Я уже их списал. Некоторые уничтожил, некоторые переправил. Так, например, в стихотворении «Душою юного поэта»[1] последнюю строфу заменил так:

Ты на молитву мне ответь,
В которой я тебя прошу.
Я буду песни тебе петь,
Тебя в стихах провозглашу.

«Наступление весны» уничтожил.

Друг, посоветуй куда. Я моментально отошлю. Пырикову передай поклон[2] от меня. Больше писать не знаю чего. Остаюсь любящий тебя друг.

Есенин.

3. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, август, до 18, 1912 г.)

Дорогой Гриша!

Письмо я твое получил. Мне переслали его из дома. Я вижу, тебе живется не лучше моего. Ты тоже страдаешь духом, не к кому тебе приютиться и не с кем разделить наплывшие чувства души; глядишь на жизнь и думаешь: живешь или нет? Уж очень она протекает-то слишком однообразно, и что новый день, то положение становится невыносимее, потому что все старое становится противным, жаждешь нового, лучшего, чистого, а это старое-то слишком пошло. Ну ты подумай, как я живу, я сам себя даже не чувствую. «Живу ли я, или жил ли я?» — такие задаю себе вопросы после недолгого пробуждения. Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное. Я употреблю все меры, чтобы проснуться. Так жить — спать и после сна на мгновение сознаваться, слишком скверно. Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю.

А я все-таки встречал тургеневских типов.

Слушай!

(Я сейчас в Москве[1].) Перед моим отъездом недели за две — за три у нас был праздник престольный. К священнику съехалось много гостей на вечер. Был приглашен и я. Там я встретился с Сардановской Анной (которой я посвятил стихотворение «Зачем зовешь т р м.»[2]). Она познакомила меня с своей подругой (Марией Бальзамовой). Встреча эта на меня также подействовала, потому что после трех дней она уехала и в последний вечер в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка тургеневская Лиза («Дворянское гнездо») по своей душе и по всем качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей

памяти при встрече с другой такой же женщиной.

Здоровье мое после 20 лучше. Курить я уже бросил.

Я недавно написал «Капли». Клеменов[3] воскрес, но скоро умрет опять.

Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то веселого.

Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете,
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.

Москва, Щипок. Магазин Крылова. Александру Ни китовичу Есенину, и для меня.

Любящий тебя *Есенин С*

4. Г А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, август 1912 г)

Дорогой Гриша!

Я получил твое письмо, за которое благодарствую тебе.

Проспекты[1] я тебе уже отослал до твоей просьбы, а пересылки за них никакой нет, и ты не должен меня просить, что заплатить марками. Между нами не должно быть никаких счетов. В таком случае мы будем друзья.

Желаешь если, я познакомлю вас письмами с М. Бальзамовой, она очень желает с тобой познакомиться, а при крайней нужде хотя в письмах. Она хочет идти в учительницы с полным сознаньем на пользу забитого и от света гонимого народа.

Я еще тебе посылаю странное письмо. Но пойми все в нем и напиши в ответ листовке.

Любящий тебя друг

Есенин.

(Благослови меня, мой друг, на благородный труд. Хочу писать «Пророка»[2], в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу. Если в твоей душе хранятся еще помимо какие мысли, то прошу тебя, дай мне их как для необходимого материала. Укажи, каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме. Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту»[3]. Пусть меня ждут унижения, презрения и ссылки. Я буду тверд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду с сознанием благородного подвига).

5. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, ноябрь — декабрь 1912 г.)

Прежде всего, лучше истина, чем лицемерие. Ты думаешь, ты прав с своими укоризнами? Тебя оскорбило, что я сказал: *«Что вы спите?»*[1] Но ведь ты лучше почитаешь истину и искренность. Знай же: я это чувствовал и сказал. Я и всегда говорю, что чувствую. Что ты подозреваешь в этих словах? Если что-либо дурное, то я говорю тебе нет! Если тебе это кажется грубо, то прости, я извинения просить не буду. Я сказал искренне, так, как сказал бы всякий мужик, видя, что мешкают. Этими словами я не требовал от тебя подробного письма, а требовал только ответа, что получил ты книги или нет. Я боялся за них, потому что посланы были без цены, а квитанции я затерял.

Если ты требуешь своим письмом от меня всего красивого, чистого, благородного, деликатного, но лицемерного, то знай, это не есть искренность, а я тебе сказал именно так (искренне). Если что-либо и встретилось в моем письме, затрагивающее струны твоей души, то знай, я не отвлеченная идея (какая-либо), а человек, не лишенный чувств, и недостатков, и слабостей. Вина не моя, что ты нашел оскорбление в моем письме,— вина твоя, что ты не мог разобраться. Если я употребил м. г., то посмотри на окончание всей фразы и погляди, кому она сказана и можно ли так называть

двух лиц. Не я тебя оскорбил, ты сам себя и меня, и меня до обидных слез. Знай, где твой находился в это время идеал? Или в это время он откачнулся от тебя, или ты от него. Я не знаю, но вижу. За все твои слова я мог бы сказать, как Рахметов («Что делать?», Чернышевский): «Ты или подлец, или лжец». Но я не хочу и особого равнодушия не имею, и притом глубоко тебя знаю и ценил как лучшего друга. Все-таки рана оскорбления лежит у меня на груди. Не было изо всех писем горше и худше сего письма!!! Во-первых, стыдны для тебя такие шаблонные требования, как Бальзамова и карточка. Здесь должно если быть, то все уже направленное к эгоизму. Хочешь быть идеалистом и противником общества, а сам строго соблюдаешь все светские приличия и рад за них подорвать все основы дружбы. Теперь уже не дружба, а жалкие шатающиеся останки, которые, может быть, рухнут при малейшем противоречии.

Ответа просить я не буду, потому что, может быть, будет тебе неприятно и ты не сочтешь себя обязанным и виновным перед собою. Почему-то невольно лезут в голову мрачные строки:

Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна[1].

6. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, март 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Извини, что запоздал ответом. Вопрос о том, изменился ли я в чем-либо, заставил меня подумать и проанализировать себя. Да, я изменился. Я изменился во взглядах, но убеждения те же и еще глубже засели в глубине души. По личным убеждениям я бросил есть мясо и рыбу, прихотливые вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не употребляю и табак не курю. Этому всему будет скоро 4 месяца. На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды[1], представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата. Разумеется, я имею симпатию и к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин

и Златовратский и др. Но как Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов — я не признаю. Тебе, конечно, известны цинизм А. Пушкина, грубость и невежество М. Лермонтова, ложь и хитрость А. Кольцова, лицемерие, азарт и карты и притеснение дворовых Н. Некрасова, Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский в своем знаменитом письме. А про Некрасова можешь даже судить по стихотворению Никитина «Поэту обличителю». Когда-то ты мне писал о Бодлере и Кропоткине, этих подлецах, о которых мы с тобой поговорим после. Жаль, что не приходится нам с тобой увидеться, мы бы поговорили чередом, а не как в письмах. На пасху я поеду домой и не теряю надежды съездить к тебе хотя бы на один день. Недавно я устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я распространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с демократическим направлением[2]. Очень хорошая вещь. Цена годовая 65 к. Ты должен обязательно подписаться. После пасхи я буду там помещать свои вещи[3]. Уж ты, брат, постарайся, напиши другую наклеечку. Если ты ее посылал в том письме, то, значит, ей и капут, она, вероятно, уже сгинула.

Жаль, что я не люблю писать письма. Я бы все вылил, что чувствовал. Гриша, напиши, что ты там затевал творить? Очень мне интересно знать, что бы это было.

Вот тебе стихотворение нашего современного поэта Корецкого, очень хорошее по мысли:

Наклонившись над жалкой фиалкой,
Ты сегодня спросила меня:
«Отчего такой хмурой и жалкой
Она стала в сиянии дня?»

О дитя! Так и сердце поэта
Расцветает, где сумрак ночной,
Там, где много и красок и света,
Бесполезно блистать красотой.

Любящий тебя *С. Е.*

7. М. П. БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва, весна 1913 г.)

Как грустно мне твое явленье!
Весна, весна, пора любви![1]

Милая Маня! Благодарю, благодарю глубоко и сердечно за твое великодушие. Я знаю, ты, конечно, уже все слышала о последнем моем периоде жизни. Маня, я искренно жалею, что не пришлось довершить до конца этих святых порывов; сил не хватило переносить насмешки и обиды. Кто знает, может быть, это самые высокие идеалы, которых еще пугается человечество, но раз им не пришлось осуществиться, так представим их разбирать уже дальнейшему поколению. Воли у меня хватило бы идти на крест, но силы душевной и телесной совершенно был лишен я. Ну... Впрочем, я об этом никому никогда не расскажу, и к чему поднимать старые раны!.. Ох, как тяжело, Маня! Да и зачем я буду мучить себя.

Слишком больно!

Прости, что плохо и нечетко пишу.

На лице, около нижней губы, почему-то выступили угри, чего сроду не было со мной; брил бороду и срезал их,— так принялись болеть, и вот повязался и все время невольно хватаюсь рукою.

Ну, как ты поживаешь? Думаешь ли ты опять в Калитинку на зимовку? Я, может быть, тогда бы тебя навестил. Да, кстати, нам необходимо с тобой увидеться и излить пред собою все чувства; но это немного спустя, когда ты устроишься одна. Я знаю, наверное, уже тебя притесняют родители, но, Маня, ты на них не сердись, они всегда тебе желают добра, а это небось думают, увлеклась, как бы худого чего не было. Я боюсь только одного: как бы тебя не выдали замуж. Приглянешься кому-нибудь и сама... не прочь — и согласишься. Но я только предполагаю, а еще хорошо-то не знаю. Ведь, Маня, милая Маня, слишком мало мы видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чистый тогда, что и не подозревал в тебе этого чувства. Я думал, так ты ко мне относилась из жалости, потому что хорошо поняла меня. И опять, опять: между нами не было даже,— как символа любви,— поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают за-

веты целомудрия, и от чего любовь обоих сердец чувствуется больнее и сильнее.

Ну, как приняла письма мои г-жа Сардановская?[2] Я посылал им письмо, но они, наверное, не поняли его, как я предполагаю. Они подумают в обратную сторону.

Отрывчатые мысли.

На квартире я теперь в № 13. Благодарю за карточку-открытку. Я получил ее. Фотографию немедленно присылай. Прямо пробную. Я слышал, ты совсем стала выглядеть женщиной, а я ведь пред тобою мальчик. Да и совсем я невзрачный. Я уже было разочаровался в получении вести от тебя. Ты знаешь, я не курю, но думаю начать. Очень скучно, а работать, заняться чем,— так я и совсем себе отдыху не даю. Последнее время пишу поэму «Тоска»[3], где вывожу под героем самого себя и нещадно критикую и осмеиваю. Что ж делать,— такой я несчастный, что и сам себя презираю. Только тебя я не могу понять, смешно, право, за что ты меня любишь? Заслужил ли я? Ведь это было как мимолетное виденье.

Любящий тебя

Серг. Есенин.

8. Г А ПАНФИЛОВУ

(Москва, апрель, до 14, 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Извини, что так долго не отвечал. Был болен, и с отцом шла неприятность[1]. Теперь решено. Я один. Жить теперь буду без посторонней помощи. После пасхи, как и сказал мне дядя, еду в Петербург в имение, которое недалеко находится от Финляндии и где живет он сам[2]. Эх, теперь, вероятно, ничего мне не видать родного. Ну что ж! Я отвоевал свою свободу. Теперь на квартиру к нему я хожу редко. Он мне сказал, что у них «мне нечего делать». Черт знает, что такое. В конторе жизнь становится невыносимой. Что делать?

Пишу письмо, а руки дрожат от волнения. Еще никогда я не испытывал таких угнетающих мук.

Грустно... душевные муки
Сердце терзают и рвут,
Времени скучные звуки
Мне и вздохнуть не дают.

Ляжешь, а горькая дума
Так и не сходит с ума...
Голову кружит от шума,
Как же мне быть... и сама
Моя изнывает душа.
Нет утешенья ни в ком,
Ходишь едва-то дыша,
Мрачно и дико кругом,
Доля, зачем ты дана!
Голову негде склонить,
Жизнь и горька и бедна,
Тяжко без счастия жить.

Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему.

Жизнь... Я не могу понять ее назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому не известно. Невольно почему-то лезут в голову думы Кольцова:

«Мир есть тайна бога,
Бог есть тайна мира»[3].

Да, однако, если это тайна, то пусть ей и останется. Но мы все-таки должны знать, зачем живем. Ведь я знаю, ты не скажешь: для того, чтобы умереть. Ты сам когда-то говорил: «А все-таки я думаю, что после смерти есть жизнь другая». Да, я тоже думаю, но зачем она, жизнь? Зачем жить? На все ее мелочные сны и стремления положен венок заблуждения, сплетенный из шиповника. Ужели так и невозможно разгадать?

Кто скажет и откроет мне,
Какую тайну в тишине
Хранят растения немые
И где следы творенья рук.
Ужели все дела святые,
Ужели всемогущий звук
Живого слова сотворил.

Из «Смерть»[4], начатой мною.

Пока и до свидания.

9. Г А ПАНФИЛОВУ

(Москва, 23 апреля 1913 г.)

Москва, 23 апреля 13 года.

Милый Гриша, извиняюсь перед тобой за свое неисполненное обещание. Условия, брат, условия помешали. Точки и запятые стали на пути и заградили дорогу. Тебе странными покажутся эти слова, но, к сожалению, увы! — это правда.

Итак, я бросил есть мясо, рыбы тоже не кушаю, сахар не употребляю, хочу скидавать с себя все кожаное, но не хочу носить названия «вегетарианец». К чему это? Зачем? Я человек, познавший Истину, я не хочу более носить клички христианина и крестьянина, к чему я буду унижать свое достоинство? *Я есть ты. Я в тебе, а ты во мне.* То же хотел доказать Христос, но почему-то обратился не прямо, непосредственно к человеку, а к отцу, да еще небесному, под которым аллегорировал все царство природы. Как не стыдны и не унизительны эти глупые названия? Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом, разве ты тоже не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего? Ох, Гриша! Как нелепа вся наша жизнь. Она коверкает нас с колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды. Условия, как я начал, везде должны быть условия, и у всего должны причины являться следствием. Без причины не может быть следствия, и без следствия не может быть причины. Не будь сознания в человеке по отношению к «я» и «ты», не было бы Христа и не было бы при полном усовершенствовании добра губительных крестов и виселиц. Да ты посмотри, кто распинает-то? Не ты ли и я, и кого же — опять, меня или тебя. Только больные умом и духом не могут чувствовать это. Войдя в мое положение или чье-либо другое, проверь себя, не сделал бы ли ты того, что сделал другой, поставь себя в одинаковые условия и в однородную степень понимания, и увидишь доказательство истинных слов: *Я есть ты.*

Меня считают сумасшедшим и уже хотели было везти к психиатру, но я послал всех к сатане и живу, хотя некоторые опасаются моего приближения. Ты понимаешь, как это тяжело, однако приходится мириться

с этим и отдавать предпочтение и молиться за своих врагов. Ведь я сделал бы то же самое на месте любого моего соперника по отношению к себе, находясь в его условиях.

Да, Гриша, люби и жалей людей — и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай лаской жизненные болезни людей. Не избегай сойти с высоты, ибо не почувствуешь низа и не будешь о нем иметь представления. Только можно понимать человека, разбирая его жизнь и входя в его положение. *Все люди — одна душа. Истина должна быть истиной, у нее нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега. В жизни должно быть искание и стремление, без них смерть и разложение.* Нельзя человеку познать Истину, не переходя в условия и не переживая некоторые ступени, в которых является личное единичное сомнение. Нет истины без света, и нет света без истины, ибо свет исходит от истины, а истина исходит от света. Что мне блага мирские? Зачем завидовать тому, кто обладает талантом,— я есть ты, и мне доступно все, что доступно тебе. Ты богат в истине, и я тоже могу достигнуть того, чем обладает твоя душа. Живое слово пробудит заснувшую душу, даст почувствовать ей ее ничтожество, и проснется она, поднимет свои ослепленные светом истины очи и уже не закроет их, ибо впереди мрак готовит напасти, а затишье принесет невзгоды, она пойдет смело к правде, добру и свободе.

Так вот она загадка жизни людей. Прочь малодушие. Долой взгляды на лета. Мудрость, удел немногих избранных, не может быть мудростью. Всякий мудрый и всякий умен по-своему, и всякий должен прийти к тому же, и для всякого одна истина: *Я есть ты.* Кто может понять это, для того нет более неразгаданных тайн. Если бы люди понимали это, а особенно ученые-то, то не было крови на земле и брат не был бы рабом брата. Не стали бы восстанавливать истину насилием, ибо это уже не есть истина, а истина познается в истине. Живи так, как будто сейчас же должен умереть, ибо это есть лучшее стремление к истине.

Человек! Подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди: вокруг тебя стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у по-

рога не слышны стоны. Жизнь в обратной колее Счастье — удел несчастных, несчастье — удел счастливых. Ничья душа не может не чувствовать своих страданий, а мои муки — твоя печаль, твоя печаль — мои терзанья. Я, страдая, могу радоваться твоей жизнью, которая протекает в довольстве и наслаждении в истине. Вот она, жизнь, а ее назначение Истина, которая определила назначение, где альфа, там и омега, а где начало, там и конец.

Злобою сердце томиться устало,
Много в нем правды, да радости мало[1]

Да, Гриша, тяжело на белом свете. Хотел я с тобой поговорить о себе, а зашел к другим. Свет истины заманил меня к своему Очагу. Там лучше, там дышится вольней и свободней, там не чувствуется того мучения и угрызений совести, которые окружают всех во мраке злобы и разврата.

Хоть поговоришь-то о ней (об истине), и то облегчишь свою душу, а сделаешь если что, то счастлив безмерно. И нет пределам земной радости, которая, к сожалению, разрушается пошлостью безвременья, и опять тяжело тогда, и приходится говорить:

Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна[2]

10 М П БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва, 1 июня 1913 г)

Дорогая Маня!

Благодарю сердечно за твой привет. Я очень много волновался после твоего письма. Зачем? Зачем ты проклинаешь несчастный, и без того обиженный, народ. Неужели такие пустые показания, как, например. «украл корову», тебя так возмутили, что ты переменила вмиг свои направления, и в душе твоей случился переворот. Напрасно, напрасно, Маня. Это — пустая и ничтожная, не имеющая значения причина. Много случается примеров гораздо серьезнее этого, от которых, пожалуй, и правда возникают сомнения, и на мгновение, поддаваясь вспышке, готов поднять меч против всего, что тебя так возмущает, и невольно как-то из души

вылетают презрительные слова по направлению к бедным страдальцам. Но после серьезного сознания это все проходит, и снова готов положить свою душу за право своих братьев.

Подумай, отчего это происходит. (Я теперь тебя тоже уже буду причислять к моим противникам, но ты ничего особенного и другого чего не выводи.) Не вы ли своими холодными поступками заставляете своего брата (родства с которым вы не признаете) делать подобные преступления? Разве вы не видите его падения? Почему у вас не возникают мысли, что настанет день, когда он заплатит вам за все свои унижения и оскорбления? Зачем вы его не поддерживаете — для того, чтобы он не сделал чего плохого благодаря своему безвыходному положению? Зачем же вы на его мрачное чело налагаете клеймо позора? Ведь оно принадлежит вам, и через ваше холодное равнодушие совершают подобные поступки. А если б я твоего увидел попика, то я обязательно наговорил бы ему дерзостей. Как он смеет судить, когда сам готов снять последний крест с груди бедняка. Небойсь, где хочешь бери четвертак ему за молебен. Ух, я б его... Хорошо ему со своей толстой, как купчихой, матушкой-то!

Ну, ладно, убежденного не убедишь.

Конечно, милая Мария, я тебя за это ругаю, но и прощаю все по твоей невинности.

Зачем ты мне задаешь все тот же вопрос? Ах, тебе приятно слышать его. Ну, конечно, конечно,— люблю безмерно тебя, моя дорогая Маня. Я тоже готов бы к тебе улететь, да жаль, что все крылья в настоящее время подломаны. Наступит же когда-нибудь время, когда я заключу тебя в свои горячие объятия и разделю с тобой всю свою душу. Ах, как будет мне хорошо забыть все твои волнения у твоей груди А может быть, все это мне не суждено! И я должен влачить те же суровые цепи земли, как и другие поэты. Наверное,— прощай сладкие надежды утешенья, моя суровая жизнь не должна испытать этого.

Пишу много под нависшею бурею гнева к деспотизму. Начал драму «Пророк»[1]. Читал ее у меня довольно образованный человек, кончивший университет историко-филологического факультета. Удивляется, откуда у меня такой талант, сулит надежды на славу, а я посылаю ее к черту.

Скоро и кончится конкурс Надсона[2].

Прощай, моя милая. Посылаю поцелуй тебе с этим письмом.

Панфилов очень рад, я ему сообщил.

Жду твоего письма.

11 М П. БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва. 12 июня 1913 г)

Здравствуй, Маня!

Глубоко благодарю тебя за твое письмо. Маня, я не виновен совершенно в нашем периоде молчания. Ты виновата кругом. Я тебе говорил когда-то, что я, думаю, приношу людям, которые меня окружают, несчастье, а потому или я их покидаю, или они меня. Я подумал, что я тебе причинил боль, а потому ты со мной не желаешь иметь ничего общего. С тяжелой болью я перенес свои волнения. Мне было горько и обидно ждать это от тебя. Ведь ты говорила, что никогда меня не бросишь. Ты во всем виновна, Маня. Я обиделся на тебя и сделал великую для себя рану. Я разорвал все твои письма, чтобы они более никогда не терзали мою душу. Ведь ты сама понимаешь, как тяжело переносить это. Но виновата ты. Я не защищаю себя, но все же ты, ты виновная.

Прости меня, если тебе обидно слышать мои упреки,— ведь это я любя. Ты могла ответить Панфилову, и то тогда ничего бы не было́. Долго не получая письма, я написал ему, что между тобой и мной все кончено. (Я так думал.) Он выразил глубокое сожаление в следующих словах: «Неужели и она оказалась такой же бездушной машиной; жаль, Сережа, твои ошибки»,— притом просил объяснения причины. Я ему по сие время не отвечал. В это время наша дружба с ним еще более скрепилась, переписка у нас участилась. Мы открывали все,— все, что только чувствовали,— друг перед другом. Помню, он мне сказал на мое письмо, в котором я ему писал: «И скучно и грустно, и некому руку подать» (Лермонтов),— он ответил продолжением и сказал еще: «Чего мы ждем с тобою, друг; время-то не ждет, можно с громадным успехом увязнуть в мире житейской суеты и разврата». «А годы проходят, все лучшие годы» (Лермонтов). Потом мы разбирали Вели-

кого идеалиста Пырикова, нашего друга, который умер 18-ти лет, 912 г., июня месяца. Он стал жертвой семьи и деспотизма окружающих. Умер от чахотки.

«Пророк» мой кончен, слава богу
Мне надоело уж писать.
Теперь я буду понемногу
Свои ошибки разбирать.

Очень удачно я его написал в экономическом отношении (черновик — 10 листов больших, и 10 листов — беловых написал), только уж очень резко я обличал пороки развратных людей мира сего.

Надеюсь на тебя, как на друга и даже больше чем друга (если не понравится, то я не буду тебя считать больше друга, потому что это = + равенству и единству), что ты мне все простишь, и мы снова будем жить по-прежнему и даже должны лучше.

Глубоко любящий тебя
С. Есенин.

12. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, 16 июня 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Извини меня, что я так долго не отвечал тебе. Была великая распря! Отец все у меня отнял, так как я до сих пор еще с ним не примирился. Я, конечно, не стал с ним скандалить, отдал ему все, но сам остался в безвыходном положении. Особенно душило меня безденежье, но я все-таки твердо вынес удар роковой судьбы, ни к кому не обращался и ни перед кем не заискивал. Главный голод меня миновал. Теперь же чувствую себя немного лучше. Ты уж меня прости. Я извиняюсь перед тобою, но ты не знаешь, как это трудно. Пока всего хорошего.

Жду ответа.

13. М. П. БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва, 20 июня 1913 г.)

Дорогая Маня!

Благодарю за ответ. Ты просишь объяснения слов «чего —.. ждем». Здесь очень все ясно. Ведь ты знаешь, что случилось с Молотовым (герой романа По-

мяловского). Посмотри, какой он идеалист и либерал, и чем он кончает. Эх, действительно что-то скучно, господа! Жениться, забыть все свои порывы, изменить убеждения и окунуться в пошлые радости семейной жизни. Зачем, зачем он совершил такой шаг? (А Помяловского я теперь не признаю, хотя и не признавал,— он слишком снисходительно относится к его поступкам.)

Вот и с нами, пожалуй, может случиться сие.

Начинаю так, чтобы больше тебе написать[1].

Ты ошибаешься, что я писал драму в прозе. Нет, я писал, как обыкновенно,— стихами. Теперь меня опять заставляют его[2] переписать: есть немного ошибок со стороны логики, это вещь неважная. Читала ли ты когда в «Русском слове» статьи Яблоновского? Я с ним говорил по телефону относительно себя, он просил меня прислать ему все мои вещи. У меня теперь много. Теперь у меня есть еще новый друг, некто Исай Павлов,— по убеждениям сходен с нами (с Панфиловым и мною), последователь и ярый поклонник Толстого, тоже вегетарианец. Он увлекается моими творениями, заучивает их наизусть, поправляет по своему взгляду и, наконец, отнес Яблоновскому. Вот я теперь жду, что мне скажут.

Панфилову, я думаю, тебе не следует писать после всего этого. Но ты, впрочем, как хочешь. Я не знаю..

Стихотворение тебе я уже давно написал, но как-то написать в письме было неохота. Я, признаться сказать, не люблю писать письма, читать их люблю. Я не знаю, почему такое сегодня, я вышел из рамок, обыкновенно я всегда стараюсь как бы поскорее отделаться от письма. Потому и грешен, иногда совершенно упускаю из виду нарочно разные деловые вопросы. Панфилов — и то, наконец, примирился со мной. Он страстно любит писать письма. Ну да ладно. Вот тебе стихотворение:

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали;
И было тяжело и так печально мне,—
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края.
И все мечты мои увянули без цвета;
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

Больше, хоть убей, не могу дописать письма, да, к счастью, уже половина 1-го.

Засиделся с тобою, а завтра что?

Ну, пожелаю доброй ночи и приятных снов.

14. М. П. БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва, середина 1913 г.)

Читаю твое письмо и, право, удивляюсь. Где же у тебя бывают мысли в то время, когда ты пишешь? Или витают под облаками? То ты пишешь, что не можешь дать своей фотографии, потому что вряд ли мы увидимся, то ссылаешься на то, что надо продолжить. Ты называешь меня ребенком, но — увы — я уже не такой ребенок, как ты думаешь, меня жизнь достаточно пощелкала, особенно за этот год. Мало ли какие были у меня тяжелые минуты, когда к сознанию являлась мысль: да стоит ли жить? Твое письмо меня застало в такой период. Что я говорил, я никогда не прикрашивал, и идеализм мой действительно был таков, каким представляли его себе люди,— люди понимающие. Я был сплошная идея. Теперь же и половину не осталось того. И это произошло со мной не потому, что я молод и колеблюсь под чужими взглядами,— но нет, я встретил на пути жестокие преграды, и, к сожалению, меня окружали все подлые людишки. Я не доверяюсь ничьему авторитету, я шел по собственному расписанию жизни, но назначенные уроки терпели крах. Постепенно во мне угасла вера в людей, и уже я не такой искренний со всеми. Кто виноват в этом? Конечно, те, которые, подло надевая маску, затрагивали грязными лапами нежные струны моей души. Теперь во мне только еще сомнения в ничтожестве человеческой жизни.

Но не думай ты, что я изменил своему народу! Нет! Горе тем, кто пьет кровь моего брата! И горе моему брату, если он обратит свободу, доставленную ему кровью борцов идей и титанов трудов, во зло ближнего,— и его настигнет карающая рука за неправду. Это я

говорю в частности, вообще же я — против всякого насилия и суда. Человек никогда ничего не делает плохого; он только ошибается, а это свойственно ему.

Во мне все сомнения, но не думай, чтоб я из них извлекал выгоду; я положительно от себя отказался, и если кому-нибудь нужна моя жизнь, то — пожалуйста, готов к услугам, но только с предупреждением: она не из завидных.

Любить безумно я никого еще не любил, хотя влюбился бы уже давно, но ты все-таки стоишь у дверей моего сердца. Но, откровенно говоря, эта вся наша переписка — игра, в которой лежат догадки, — да стоит ли она свеч?

Я еще вполне не доверяюсь тебе, но все-таки тебя люблю за все, как ни смешно, что это «все» — в письмах. Но моя душа как будто переживает те счастливые минуты, про которые ты мне говоришь из своего далека.

На курсы я тебе советую поступить; здесь ты узнаешь, какие нужно носить чулки, чтоб нравиться мужчинам, и как строить глазки и кокетливо подводить их под орбиты. Потом можешь скоро на танцевальных вечерах (в ногах — твоя душа) сойтись с любым студентом и составишь себе прекрасную партию, и будешь жить ты припеваючи. Пойдут дети, вырастите какого-нибудь подлеца и будете радоваться, какие получает он большие деньги, которые стоят жизни бедняков.

Вот все, что я могу тебе сказать о твоих планах. а рельефный тип для тебя всего этого — «СИМА».

Я же не намерен никуда поступать, так как наука нашего времени — ложь и преступление. А читать, — я и так свой кругозор знаний расширяю анализом под собственным наблюдением. Мне нужно себя, а не другого, напичканного чужими суждениями.

Печатать я свои произведения отложил со второй корректуры, т. е. они напечатаны, но не вышли в свет[1], так как я решил ждать критика Измайлова, который находится за границей. Сейчас в Москве из литераторов никого нет. Слыхала ль ты про поэта Белоусова, друг Дрожжина. Я с ним знаком, и он находит, что у меня талант, и талант истинный. Я тебе это говорю не из тщеславия, а так, как любимому человеку Он еще кой-что говорил мне, но это пусть будет при

мне; может быть, покажется странным и даже сверхъестественным.

Если письмо мое поразит тебя колкостями, то я в таком состоянии, когда мне все на свете постыло,— и сам себе не мил, и даже ты не хороша.

Верно, Маня, мало в тебе соков, из которых можно было бы выжать кой-что полезное, а это я говорю на основании твоих слов: «Танцы — душа моя!» Бедная, душу-то ты схоронила в ноги!

Зачем, когда так много хороша иначе.

Любящий *С.*

Как-нибудь пришлю тебе стихотворение «Метеор»[2], написанное мною недавно. По отзывам других — очень хорошее, но мне не нравится.

Фотографию я тебя не обязываю давать; как хочешь, а просить я не буду. Я смело решил отпарировывать удары судьбы. И даже если ты со мной прикончишь неначинающийся роман, вынесу без боли и сожаления. На все — удел терпения.

15. Г А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, сентябрь, не ранее 24, 1913 г.)

Дорогой Гриша!

Писать подробно не могу. Арестовано 8 человек товарищей за прошлые движения из солидарности к трамвайным рабочим. Много хлопот[1] и приходится суетиться[2].

А ты пока пиши свое письмо, я подробно на него отвечу.

Любящий тебя *Сережа.*

16. Г А ПАНФИЛОВУ

(Москва, сентябрь 1913 г.)

Сбейте мне цепи, скиньте оковы!
Тяжко и больно железо носить.
Дайте мне волю, желанную волю.
Я научу вас свободу любить[1]

Увы мне, увы мне! Тебе ничего там не видно и не слышно в углу твоего прекрасного далека[2]. Там возле тебя мирно и плавно текут, чередуясь, блаженные дни, а здесь кипит, бурлит и сверлит холодное время, подхватывая на

своем течении всякие зародыши правды, стискивает в свои ледяные объятия и несет бог весть куда в далекие края, откуда никто не приходит. Ты обижаешься, почему я так долго молчу, но что я могу сделать, когда на устах моих печать, да и не на моих одних.

Гонима, Русь, ты беспощадным роком,
За грех иной, чем гордый Биллеам,
Заграждены уста твоим пророкам
И слово вольное дано твоим ослам[3].

Мрачные тучи сгустились над моей головой, кругом неправда и обман. Разбиты сладостные грезы, и все унес промчавшийся вихорь в своем кошмарном круговороте. Наконец и приходится сказать, что жизнь — это действительно «пустая и глупая шутка»[4]. Судьба играет мною. Она, как капризное дитя, то смеется, то плачет. Ты, вероятно получил неприятное для тебя письмо от моего столь любезного батюшки[5], где он тебя пробирает на все корки. Но я не виноват здесь, это твоя неосторожность чуть было (не) упрятала меня в казенную палату[6]. Ведь я же писал тебе: перемени конверты и почерк[7]. За мной следят, и еще совсем недавно был обыск у меня на квартире[8]. Объяснять в письме все не стану, ибо от сих пашей и их всевидящего ока[9] не скроешь и булавочной головки. Приходится молчать. Письма мои кто-то читает, но с большой аккуратностью, не разрывая конверта. Еще раз прошу тебя, резких тонов при письме избегай, а то это кончится все печально и для меня, и для тебя. Причину всего объясню после, а когда, сам не знаю. Во всяком случае, когда угомонится эта разразившаяся гроза.

А теперь поговорим о другом. Ну как ты себе поживаешь? Я чувствую себя прескверно. Тяжело на душе, злая грусть залегла[10]. Вот и гаснет румяное лето со своими огненными зорями, а я и не видал его за стеной типографии. Куда ни взгляни, взор всюду встречает мертвую почву холодных камней, и только и видишь серые здания да пеструю мостовую, которая вся обрызгана кровью жертв 1905 г.[11] Здесь много садов, оранжерей, но что они в сравнении с красотами родимых полей и лесов. Да и люди-то здесь совсем не такие. Да, друг, идеализм здесь отжил свой век, и с кем ни поговори, услышишь одно и то же: «Деньги — главное дело», а если будешь возражать, то тебе говорят: «Молод, зелен, поживешь — изменишься». И уже заранее причисляют к героям мещанского счастья,

считая это лучшим блаженством жизни Все погрузились в себя, и если бы снова явился Христос. то он и снова погиб бы, не разбудив эти заснувшие души.

Жизнь невеселая, жизнь терпеливая,
Горько она, моя бедная, движется[12]

Да, я частенько завидую твоему другу Пырикову Вероятно, его боги слишком любили, что судили ему умереть молодым[13]. Как хорошо закатиться звездой пред рассветом, но а сейчас-то его пока нет и не видно. Кругом мрак.

Ах ты, ноченька,
Ночка темпая,
Ночка темная,
Ночь осенняя![14]

Дела мои не особенно веселят. Поступил в Университет Шанявского на историко-философский отдел. Но со средствами приходится скандалить. Не знаю, как буду держаться, а силы так мало. Я не знаю, что ты там засел в Клепиках, пора бы и вырваться на волю. Ужели тебя не гнетет та удушливая атмосфера? Здесь хоть поговорить с кем можно и послушать есть чего. Пока, думаю, довольно с меня разводить эти мертвые каракули. Скука невыносимая. «Все мошенники и подлецы. Есть только один порядочный человек, губернатор города NN, да и тот, по правде сказать, свинья!» Так говорил Собакевич[15] И правда, я пока хорошего ничего не вижу.

Любящий тебя *Сережа*.

17 Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва. сентябрь   октябрь 1913 г)

Дорогой Гриша!

Извини, что запоздал ответом. Я все дожидался. чтобы послать тебе вырезку из газеты со своим стихотворением[1], но оказывается, это еще немного продолжится. Пришлю после.

Ты просишь рассказать тебе, что со мной произошло, изволь. Во-первых, я зарегистрирован в числе всех профессионалистов, во-вторых, у меня был обыск, но все пока кончилось благополучно. Вот и все.

Живется мне тоже здесь не завидно. Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер. Москва – это бездуш

ный город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей частью бегут от нее. Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положительно ни одного. Есть, но которые только годны на помойку, вроде «Вокруг света», «Огонек». Люди здесь большей частью волки из корысти. За грош они рады продать родного брата. Все здесь построено на развлечении, а это развлечение покупают ценой крови.

Да, мельчает публика. Портятся нравы, а об остальном уж и говорить нельзя.

Читал ли ты роман Ропшина «То, чего не было» из эпохи 5 годов. Очень замечательная вещь.

Вот где наяву необузданное мальчишество революционеров 5 года. Да, Гриша, все-таки они отодвинули свободу лет на 20 назад[2]. Но бис с ними, пусть им себе галушки с маком кушают на знтом свити. Пока больше не знаю, что писать.

Любящий тебя *Сережа.*

Не обижайся, что замедлил. Карточку давай сюда.

18. М П. БАЛЬЗАМОВОЙ

(Москва, октябрь 1913 г.)

Жизнь — зто глупая шутка. Все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. Лучи солнышка влюбились в зеленую ткань земли и во все ее существо, — и бесстыдно, незаметно прелюбодействуют с нею. Люди нашли идеалом красоту — и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и раздражаются похотью. И эта-то, — игра чувств, чувств постыдных, мерзких и гадких, — названо у них любовью. Так вот она, любовь! Вот чего ждут люди с трепетным замиранием сердца. «Наслаждения, наслаждения!» — кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. Люди все — эгоисты. Все и каждый только любит себя и желает, чтобы все перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство, — наслаждение.

Но есть люди, которые с тоскою проходят свой жизненный путь, и не могут они без отвращения смотреть на дикие порывы человечества к этому наслаждению. Редко улыбается им мрачная жизнь, построенная на началах преступления, увязшая в пороках и разврате и не желающая оттуда вылезти. Не могут они равнодушно переносить окружающую пустоту, и дух их тоскует и рвется к какому-то неведомому миру, и они умирают не перед раскрытыми вопросами отвратительной жизни,— увядают эти белые, чистые цветы среди кровавого болота, покрытого всею чернотой и отбросами жизни.

Жизнь идет не по тому направлению, и люди, влекомые ее шумным потоком, не в силах сопротивляться ей и исчезают в водовороте ее жуткой и страшной пропасти.

Человек любит не другого, а себя, и желает от него исчерпать все наслаждения. Для него безразлично, кто бы он ни был,— лишь бы ему было хорошо. Женщина, влюбившись в мужчину, в припадках страсти может отдаваться другому, а потом — раскаиваться. Но ведь этого мало, а больше нечем закрыть вины и к прошлому тоже затворены двери, и жизнь, действительно,— пуста, больна и глупа.

Я знаю, ты любишь меня; но подвернись к тебе сейчас красивый, здоровый и румяный с вьющимися волосами, другой,— крепкий по сложению и обаятельный по нежности,— и ты забудешь весь мир от одного его прикосновения, а меня и подавно, отдашь ему все свои чистые, девственные заветы. И что же, не прав ли мой вывод?

К чему же жить мне среди таких мерзавцев, расточать им священные перлы моей нежной души. Я — один, и никого нет на свете, который бы пошел мне навстречу такой же тоскующей душой; будь это мужчина или женщина, я все равно бы заключил его в свои братские объятия и осыпал бы чистыми жемчужными поцелуями, пошел бы с ним от этого чуждого мне мира, предоставляя свои цветы рвать дерзким рукам того, кто хочет наслаждения.

Я не могу так жить, рассудок мой туманится, мозг мой горит и мысли путаются, разбиваясь об острые скалы жизни, как чистые, хрустальные волны моря.

Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, — я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую.

19 Г А ПАНФИЛОВУ

(Москва, октябрь 1913 г.)

Печальные сны охватили мою душу. Снова навевает на меня тоска угнетенное настроение. Готов плакать и плакать без конца. Все сформировавшиеся надежды рухнули, мрак окутал и прошлое и настоящее. «Скучные песни и грустные звуки»[1] не дают мне покоя. Чего-то жду, во что-то верю и не верю. Не сбылися мечты святого дела. Планы рухнули, и все снова осталось на веру «Дальнейшего будущего». Оно все покажет, но пока настоящее его разрушило. Была цель, были покушения, но тягостная сила их подавила, а потом устроила насильное триумфальное шествие. Все были на волоске и остались на материке. Ты все, конечно, понимаешь, что я тебе пишу. Ми[нистр]ов всех чуть было не отправили в пекло святого Сатаны, но вышло замешательство. И все снова по-прежнему. На Ца+Ря не было ничего и ни малейшего намека, а хотели их, но злой рок обманул, и деспотизм еще будет владычествовать, пока не загорится заря. Сейчас пока меркнут звезды и расстилается тихий легкий туман, а заря еще не брезжит, но всегда перед этим или после этого угасания владычества ночи, всегда бывает так. А заря недалека, и за нею светлый день. Посидим у моря, подождем погоды, когда-нибудь и утихнут бурные волны на нем и можно будет без опасения кататься на плоскодонном челноке.

НА ПАМЯТЬ ОБ УСОПШЕМ
У МОГИЛЫ

В этой могиле под скромными ивами
Спит он, зарытый землей,
С чистой душой, со святыми порывами,
С верой зари огневой.

Тихо погасли огни благодатные
В сердце страдальца земли,

И на чело никому не понятные
Мрачные тени легли.

Спит он, а ивы над ним наклонилися,
Свесили ветви кругом,
Точно в раздумье они погрузилися,
Думают думы о нем.

Тихо от ветра, тоски напустившего,
Плачет, нахмурившись, даль.
Точно им всем безо времени сгибшего
Бедного юношу жаль.

20. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, январь 1914 г.)

Дорогой Гриша!

Изнуренный сажусь за письмо. Последнее время я тоже свалился с ног. У меня сильно кровь шла носом. Ничто не помогало остановить. Не ходил долго на службу, и результат — острое малокровие. Ты просил меня относительно книг, я искал, искал и не нашел. Вообще-то в Москве во всех киосках и рынках не найти старых книг этого издательства. Ведь главное-то, они захватили провинциализм, а потому там и остались...

...Посылаю тебе на этой неделе детский журнал, там мои стихи[1].

Что-то грустно, Гриша. Тяжело. Один я, один кругом, один, и некому мне открыть свою душу, а люди так мелки и дики. Ты от меня далеко, а в письме всего не выразишь, ох, как хотелось бы мне с тобой повидаться.

О болезни твоей глубоко скорблю[2] и не хотел бы тебе напоминать об этом, слишком больно травить свою душу.

Любящий тебя *С. Е.*

21. Г. А. ПАНФИЛОВУ

(Москва, февраль 1914 г.)

Гриша! Небось ты меня скипидаришь вовсю. Голубчик мой, <обож>ди немного. Ей-богу, ни минуты свободной. Так писать, <что> вздумается, не интересно. Благодарю глубоко за приглашение, но приехать не могу, есть дела <важ>ные дома. Вот летом, тогда с великим восторгом.

Распечатался я во всю ивановскую. Редактора принимают без просмотра и псевдоним мой «Аристон» сняли. Пиши, г<ово>рят, <под> своей фамилией. Получаю 15 к. за строчку. Посылаю одно из детских стихотворений. Глубоко любящий тебя *Сережа.*

(Какова моя персона?) Я очень изменился.

22 М П БАЛЬЗАМОВОЙ

(Петроград, март апрель 1915 г)

Мария Парменовна!

Извините, что я обращаюсь к Вам с странной просьбой. Голубушка, будьте добры написать мне побольше частушек[1]. Только самых новых. Пожалуйста. Сообщите, можете ли Вы это сделать. Поскорей только.

Адрес: Петроград, Преображенская ул., д. 42-а, кв. 12. Сергею Есенину.

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСЕМ

23 И И ШНЕЙДЕРУ

(Висбаден, 21 июня 1922 г)

Висбаден, июнь 21.922.

...Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер[1]. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.

Нужен поход на Европу______________________________

Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради бога, отыщите мою сестру через магазин (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги, по этому чеку в «Ара». Она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда мы узнаем, что вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо.

Если сестры моей нет в Москве, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу, пусть он отошлет его ей.

Кроме того, когда Вы поедете в Лондон, Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы выслать ей деньги, без которых она погибнет

Передайте мой привет и все чувства любви моей Мариенгофу. Я послал ему два письма, на которые он почему-то мне не отвечает.

О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтоб я не попал в Париж) Но все это после, сейчас жаль нервов.

Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариенгофа и то, что обо мне писалось за это время

Жму Вашу руку.

До скорого свиданья. Любящий Вас *Есенин.*

Ирме мой нижайший привет Изадора вышла за меня замуж второй раз и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина.

24. М. М ЛИТВИНОВУ

(Дюссельдорф 29 июня 1922 г)

Июнь 29 1922

Уважаемый т. Литвинов!

Будьте добры, если можете, то сделайте так. чтоб мы выбрались из Германии и попали в Гаагу

Обещаю держать себя корректно и в публичных местах «Интернационал» не петь[1].

Уважающие Вас

С Есенин

Айседора Дункан.

25. А. М САХАРОВУ

(Дюссельдорф 1 июля 1922 г)

1 июля 1922 г.

..Родные мои! Хорошие!

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют. и опять фокстрот Человека я пока еще не встречал и не знаю. где им пахнет. В страшной моде господин доллар. на искусство начхать — самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и

переводов. Никому здесь это не нужно... Ну и <...> я их тоже с высокой лестницы.

Если рынок книжный — Европа, а критик — Львов-Рогачевский, то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу.

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к <...> и навострить лыжи обратно.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину[1].

...Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия[2], который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж!..

26. А. Б. МАРИЕНГОФУ

(Остенде, 9 июля 1922 г.)

...Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни, что просто хочется послать это все к энтой матери.

Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Гель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер. Очень много думаю и не знаю, что придумать.

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах особенно твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди — а могильные черви,

дома их гробы, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут

Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек[1] по 3—2 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного и то в литературных кругах.

Издам на английском и французском. К тебе у меня, конечно, много просьб, но самая главная — это то, чтобы ты позаботился о Екатерине, насколько можешь...

В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха[2]. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину[3]

От твоих книг шарахаются. Хорошую книгу стихов удалось продать только как сборник новых стихов[4] твоих и моих. Ну да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя.

При всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу тебе откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган...[5]

Твой *Сергун.*

Остенд, июль 9, 1922.

27. А. Б. МАРИЕНГОФУ

(Нью-Йорк, 12 ноября 1922 г)

12 ноября 1922 г.

Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься...

Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские «сто тысяч улиц» можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире.

О себе скажу (хотя ты все думаешь, что я говорю для

потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь.

Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно не нужно, значение его для всех — как значение Изы Кремер[1], только с тою разницей, что Иза Кремер жить может на свое пение, а тут хоть помирай с голоду.

Я понимаю теперь, очень понимаю кричащих о производственном искусстве.

В этом есть отход от ненужного. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа... С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки... В голове у меня одна Москва и Москва.

Даже стыдно, что так по-чеховски.

Сегодня в американской газете видел очень большую статью с фотографией о Камерном театре, но, что там написано, не знаю, за не... никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке. Кроме русского, никакого другого не признаю, и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится порусски.

Конечно, во всех своих движениях столь же смешон для многих, как француз или голландец на нашей территории.

Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я пишу это письмо тебе. Потому в России сейчас ночь, а здесь день...

Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре «железа и электричества» здесь у каждого полтора фунта грязи в носу...

ИЗ ПИСЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ

28. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Москва, 21 января 1915 г.)

Москва, 21 января 1915 года.

Александр Васильевич!

Приветствую Вас за стихи Ширяевца. Я рад, что мое стихотворение помещено вместе с Вашим . Я давно знаю

Вас из ежемесячника[2] и по второму номеру «Весь мир»[3]. Стихи Ваши стоят на одинаковом достоинстве стихов Сергея Клычкова[4], Алексея Липецкого[5] и Рославлева[6]. Хотя Ваша стадия от них далека. Есть у них красивые подделки под подобные тона, но зто все не то.

Извините за откровенность, но я Вас полюбил с первого же мной прочитанного стихотворения. Моих стихов в Чарджуе Вы не могли встречать, да потом я только вот в это время еще выступаю. Московские редакции обойдены мной успешно. В ежемесячнике я тоже скоро, наверное, появлюсь[7].

Есть здесь у нас еще кружок журнала «Млечный Путь»[8]. Я там много говорил о Вас, и меня просили пригласить Вас. Подбор сотрудников хороший. Не обойден и Игорь Северянин. Присылайте, ежели не жаль, стихов, только без гонорара. Раскаиваться не будете. Журнал выходит один раз в месяц, но довольно изрядно.

Кстати, у меня есть еще Ваше стихотворение «Городское». Поправьте, пожалуйста, последнюю строчку.

«Не встречу ль я любезного на улице в саду» — переправьте как-нибудь на любовную беду. А то уж очень здесь шаблонно.

Строчки «что сделаю-поделаю я с девичьей тоской» — краса всего стихотворения. Оно пойдет во втором номере «Друг народа»[9]. Если можно, я попросил бы карточку Вашей с<обственной> персоны. Ведь книги стихов у Вас нет.

Очень рад за Вас, что Вашу душу девушка-царевна вывела из плена городского. Вы там вдалеке так сказочны и прекрасны.

Жму руку Вашу.

Со стихами моими Вы еще познакомитесь. Они тоже близки Вашего духа и Клычкова.

Ответьте, пожалуйста.

Уважающий Вас

Сергей Александрович Есенин.

Москва, 2-й Павловский пер., д. 3, кв. 12.

29. А. А. БЛОКУ

(Петроград, 9 марта 1915 г.)

Александр Александрович!

Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4.

С почтением *С. Есенин.*

30. Н. А. КЛЮЕВУ

(Петроград, 24 апреля 1915 г.)

Дорогой Николай Алексеевич!

Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким[1] и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке[2]. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли «Северные записки», «Русская мысль», «Ежемесячный журнал» и др. А в «Голосе жизни» есть обо мне статья Гиппиус[3] под псевдонимом Роман Аренский, где упоминаетесь и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь «через быстру реченьку, через темненький лесок не доходит голосок». Если Вы прочитаете мои стихи, черканите мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу «Радуница». В «Красе»[4] я тоже буду. Мне очень жаль, что я на этой открытке ничего не могу еще сказать. Жму крепко Вашу руку. Рязанская губ., Рязан. у., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу.

31. В. С. ЧЕРНЯВСКОМУ

(Константиново, июнь — июль 1915 г.)

Дорогой Володя! Радехонек за письмо твое. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уж я его распечатал. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам. На буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его и на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере. Сейчас я думаю уйти куда-нибудь. От во-

енной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли.

Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы. Два уже готовы. К. говорит, что они многое открыли ему во мне. Кажется, понравились больше, чем надо. Стихов ему много не понравилось, но больше восхитило. Он мне объяснил о моем *пантеизме* и собирался статью писать.

Интересно, черт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. Меня беспокоит то, что я отослал им стихи, а ответа нет. Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать. За июнь посмотри «Северные записки», там я уже напечатан, как говорит К. Жду только «Русскую мысль». Читал в «Голосе жизни» Струве, оба стиха понравились. Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печати». Стихов я тебе скоро пришлю почитать. Только ты поторопись ответом. Самдели уйду куда-нибудь. Милый Рюрик, один он там остался.

Городецкий мне все собирается писать, но пока не писал. Писал Клюев, но я ему все отвечать собираюсь. Рюрику я пишу, а на Костю осердился, он не понял как следует. Коровы хворают, люди не колеют...

Любящий тебя *Сережа.*

32. Д. В. ФИЛОСОФОВУ

(Константиново, июль — август 1915 г.)

Дорогой Дмитрий Владимирович. Мне очень бы хотелось быть этой осенью в Питере, так как думаю издавать две книги стихов[1]. Ехать, я чую, мне не на что. Очень бы просил Вас поместить куда-либо моего «Миколая Угодника»[2]. Может быть, выговорите мне прислать деньжонок к сентябрю. Я был бы очень Вам благодарен. Проездом я бы уплатил немного в Университет Шанявского, в котором думаю серьезно заниматься[3]. Лето я шибко подготовлялся. Очень бы просил Вас. В «Северных записках» и «Русской мысли», боюсь, под аванс сочтут за шарамыжничество. Тут у меня очень много записано сказок и песен[4]. Но до Питера с ними пирогов не спекешь. Жалко мне очень, что «Голос жизни»-то закрыли[5]. Жду поскору ответа. Может быть, «Современник» возьмет.

Любящий Вас *Есенин.*

33. М. В. АВЕРЬЯНОВУ

(Петроград, 16 ноября 1915 г.)

1915 года, ноября 16 дня продал Михаилу Васильевичу Аверьянову в полную собственность право первых изданий в количестве трех тысяч экземпляров моей книги стихов «Радуница» за сумму сто двадцать пять рублей и деньги сполна получил.

Означенные три тысячи экземпляров М. В. Аверьянов имеет право выпустить в последовательных изданиях.

Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости.

Сергей Александрович *Есенин*.

Петроград, Фонтанка, 149, кв. 9.

34. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Петроград, декабрь, не позднее 21, 1915 г.)

Многоуважаемый Разумник Васильич!

В прошлом году я начал первый раз в Питере печатать свои стихи в «Русской мысли», «Северных записках», «Ежемесячном журнале», «Новом журнале для всех», «Голосе жизни», «Биржевых ведомостях», «Огоньке» и др.

На днях выходят сразу одна за одной мои две книги «Радуница» и «Авсень».

С войной мне нынешний год пришлось ехать в Ревель пробивать паклю, но ввиду нездоровости я вернулся. Приходится жить литературным трудом, но очень тяжко. Дома на родине у меня семья, которая нуждается в моей помощи. Ввиду этого, Разумник Васильевич, я попросил бы Вас похлопотать в Литературном фонде о ссуде руб. в 200. Дабы я хоть не поскору должон был искать себе заработок и имел возможность выбрать его.

Адрес мой: Фонтанка, 149, кв. 9.

Уважающий Вас *Сергей Есенин*.

35. Н. А. КЛЮЕВУ

(Царское Село, июль — август 1916 г.)

Дорогой Коля, жизнь проходит тихо и очень тоскливо. На службе у меня дела не важат. В Петроград приедешь, одна шваль торчит. Только вот вчера был для меня день, очень много доставивший. Приехал твой отец, и то, что я

вынес от него, прямо-таки передать тебе не могу Вот натура — разве не богаче всех наших книг и прений? Все, на чем ты и твоя сестра ставили дымку, он старается еще ясней подчеркнуть, и для того только, чтоб выдвинуть помимо себя и своих желаний мудрость приемлемого. Есть в нем, конечно, и много от дел мирских с поползновением на выгоду, но это отпадает, это и незаметно ему самому, жизнь его с первых шагов научила, чтоб не упасть, искать видимой опоры. Он знает интуитивно, что когда у старого волка выпадут зубы, бороться ему будет нечем, и он должен помереть с голоду... Нравится мне он.

Сидел тут еще Ганин, у него, знаешь, и рот перекосился совсем от заевшей его пустой и ненужной правды. Жаль его очень, жаль потому, что делает-то он все так, как надо, а объясняет себе по-другому.

Пишу мало я за это время, дома был — только растравил себя и все время ходил из угла в угол да нюхал, чем отдает от моих бываний там — падалью иль сырой гнилью.

За последнее время вырезок никаких не получал, говорил мне Пимен, что видел большую статью где-то, а где, не знаю. Клавдия Алексеевна говорила, что ты три получил. Пришли, пожалуйста, мне посмотреть, я их тебе отошлю тут же обратно.

Дед-то мне показывал уж и какого размера, ды все, говорит, про тебя сперва, про Николая после чтой-то

Приезжай, брат, осенью во что бы то ни стало. Отсутствие твое для меня заметно очень, и очень скучно. Главное то, что одиночество круглое.

Как я вспоминаю пережитое...

Вернуть ли?

Твой *Сергей Есенин*

36. Н. Н. ЛИВКИНУ

(Царское Село, 12 августа 1916 г.)

12 августа 16 г.

Сегодня я получил ваше письмо[1], которое вы послали уже более месяца тому назад. Это вышло только оттого, что я уже не в поезде, а в Царском Селе при постройке Феодоровского собора[2].

Мне даже смешным стало казаться, Ливкин, что между нами, два раза видящих друг друга, вдруг вышло какое-то

недоразумение, которое почти целый год не успокаивает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая говорит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от которой мне неприятно.

Я только обиделся, не выяснив себе ничего, на вас за то, что вы меня и себя, но больше меня, поставили в неловкое положение. Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как, может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мережковский, гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их — и с деньгами, и со всем, что в них есть,— и считал поганым прикоснуться до них. Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны. Это было в их глазах, или могло быть, тоже некоторым воровством, но в моих ничуть, и когда вы написали письмо со стихами в «Журнал для всех»[3], вы, так сказать, задели струну, которая звучала корябающе.

Теперь я узнал и постарался узнать, что в вас было не от пинкертоновщины все это, а по незнанию. Сейчас, уже утвердившись в многом и многое осветив с другой стороны, что прежде казалось неясным, я с удовольствием протягиваю вам руку примирения перед тем, чего между нами не было, а только казалось. И вообще между нами ничего не было бы, если бы мы поговорили лично.

Не будем говорить о том мальчишке, у которого понятие о литературе, как об уличной драке: «Вот стану на углу и не пропущу, куда тебе нужно». Если он усвоил себе термин ля, сейчас существующий: «Сегодня ты, а завтра я»[4], то в мозгу своем все-таки не перелицевал его. То, что когда-то казалось другим, что я увлекаюсь им как поэтом было смешно для меня иногда, но иногда принимал и это, потому что во мне к нему было некоторое увлечение, которое чтоб скрыть иногда от ужаса других, я заставлял себя дурачиться, говорить не то, что думаю, и чтоб сильней оттолкнуть подозрение на себя, вы-

ходил на кулачки с Овагемовым. Парнем разухабистым хотел казаться. Вообще, между нами ничего не было, говорю вам теперь я, кроме опутывающих сплетен, а сплетен и здесь хоть отбавляй, и притом они незначительны.

Ну, разве я могу в чем-нибудь помешать вам как поэту? Да я просто дрянь какая-то после этого был бы, которая не литературу любит, а потроха выворачивать. Это мне было еще больней, когда я узнал, что обо мне так могут думать, но, а в общем-то, ведь все это выеденного яйца не стоит.

Сергей Есенин.

37. Л. Н. АНДРЕЕВУ

(Царское Село, 20 октября 1916 г.)

Дорогой Леонид Николаевич, навещая А. М. Ремизова[1], мы с Клюевым хотели очень повидать Вас, но не пришлось, о чем глубоко жалеем. В квартире Вашей я оставил Вам несколько стихотворений и книгу[2]. Будьте добро<де>тельны, сообщите мне, подошло что или нет из них, так как я нахожусь на военной службе и справиться лично не имею возможности.

Уважающий и почитающий Вас

Сергей Есенин.

Царское Село. Канцелярия по постройке Феодоровского собора.

38. М. В. АВЕРЬЯНОВУ

(Царское Село, ноябрь, около 20, 1916 г.)

Дорогой Михаил Васильевич! Положение мое скверное. Хожу отрепанный, голодный, как волк, а кругом все подтягивают. Сапоги каши просят, требуют, чтоб был как зеркало, но совсем почти невозможно. Будьте, Михаил Васильевич, столь добры, выручите из беды, пришлите рублей 35. Впредь буду обязан Вам «Голубенью», о достоинстве коей можете справиться у Разумника Иванова и Клюева. Вы-то ведь не слыхали моих стихов с апреля.

Думаю, что я не обижу моим обращением Вас, но я все-

гда почему-то именно надеялся на эту сторону, потом даже был разговор когда-то при выпуске «Радуницы», что, когда книга разойдется, 50 р. добавочных. Положим, книга не разошлась, но я все-таки к Вам обращаюсь и надеюсь.

Сергей Есенин.

Царское Село. Канцелярия по постройке Феодоровского собора.

39. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Петроград, июнь, до 16, 1917 г.)

Дорогой Шура!

Очень хотел приехать к тебе под твое бирюзовое небо, но за неимением времени и покачнувшегося здоровья пришлось отложить.

Очень мне надо с тобой обо многом переговорить или списаться.

Сейчас я уезжаю домой, а оттуда напишу тебе обстоятельно.

Но впредь ты меня предупреди, получишь ли ты эту открытку.

Твой *Сергей.*

Кузьминское п. отд.
село Константиново Рязанск. губ. и уез.
С. Есенину.

40. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Константиново, 24 июня 1917 г.)

1917. Июнь 24.

Хе-хе-хе, что ж я скажу тебе, мой друг, когда на языке моем все слова пропали, как теперешние рубли. Были и не были. Вблизи мы всегда что-нибудь, но уж обязательно сыщем нехорошее, а вдали все одинаково походит на прошедшее, а что прошло, то будет мило,— еще сто лет назад сказал Пушкин[1].

Бог с ними, этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об

отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева[2] Византию и писания Козьмы Индикоплова[3] с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина[4].

Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить, до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это — *ты*. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить.

Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движения был бы скучен, и мы, пожалуй, легко бы сошлись с ними. Сидели бы за их столом рядом, толковали бы, жаловались на что-нибудь. А какой-нибудь эго-Мережковский приподымал бы свою многозначительную перстницу и говорил: гениальный вы человек, Сергей Александрович или Александр Васильевич, стихи ваши изумительны, а образы, какая образность, а потом бы тут же съехал на университет, посоветовал бы попасть туда и, довольный тем, что все-таки в жизни у него несколько градусов больше при университетской закваске, приподнялся бы вежливо встречу жене[5] и добавил: «Смотри, милочка, это поэт из низов...» А она бы расширила глазки и, сузив губки, пропела: «Ах, это вы самый, удивительно, я так много слышала, садитесь». И почла бы удивляться, почла бы расспрашивать, а я бы ей, может быть, начал отвечать и говорить, что корову доят двумя пальцами, когда курица несет яйцо, ей очень трудно и т. д. и т. д.

Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них — Белинский, говоря о Кольцове, писал «мы», «самоучка», «низший слой» и др., а эти еще дурнее[6].

Но есть, брат, среди них один человек, перед которым я не лгал, не выдумывал себя и не подкладывал, как всем другим. Это Разумник Иванов. Натура его глубокая и твердая, мыслью он прожжен, и вот у него-то я сам, сам Сергей Есенин, и отдыхаю, и вижу себя, и зажигаюсь об себя.

На остальных же просто смотреть не хочется. С ними нужно не сближаться, а обтесывать, как какую-нибудь

плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется, таков и Блок, таков Городецкий и все и весь их легион.

Бывают, конечно, сомнения и укоры в себе, что к чему и зачем все это, но как только взглянешь и увидишь когонибудь из них, так сейчас же оно, это самое-то, и всплывает. Люботно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный. Так вот их и выдергиваешь, как лещей или шелесперов.

Я очень и очень был недоволен твоим приездом туда, особенно твоими говореньями с Городецким. История с Блоком мне была передана Миролюбовым с большим возмущением[7], но ты должен был ее так не оставлять и душой своей не раскошеливаться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты все это делал.

В следующий раз мы тебя поучим наглядно, как быть с ними, а пока скажу тебе об издательствах. Аверьянов сейчас купил за $2^1/_2$ тыс. у Клюева полн. соб. (вышедшие книги) и сел на них. Дела у него плохи, и издатель он шельмоватый. «Страда» — это просто случайные сборники[8] под редакцией Ясинского, а остальные журналы почти наполовину закрыты.

Мой план: обязательно этой осенью сделать несколько вечеров, а потом я выпускаю книгу в одном издательстве[9] с платой по процентам и выпущу сборник «пятерых»[10] — тебя, меня, Ганина, Клюева и Клычкова. (О Клычкове поговорим еще, он очень и близок нам, и далек по своим воззрениям.) Но все это выяснится совсем там, в сентябре. Стихи посылай в «Скифы», новый сборник, и «Заветы»[11] на имя Разумника Васильевича Иванова. Царское Село, Колпинская, 20. Это не редакция там, а его квартира. Ему посылать лучше, он тебя знает, и я ему о тебе говорил. А пока всего тебе доброго.

Константиново. Твой *Сергей.*

41. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, апрель, до 13, 1918 г.)

Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась, с прибавлением не, клюевская «Песнь Солнценосца» и хвалебные оды ей с бездарной «Красной песней».

Штемпель Ваш «Первый глубинный народный поэт», который Вы приложили к Клюеву из достижений его «Песнь Солнценосца», обязывает меня не появляться в третьих «Скифах». Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк.

Это я, если не такими, то похожими словами, уже говорил Вам когда-то при Арсении Авраамове.

Клюев, за исключением «Избяных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его «прекраснейшему» и «белый свет Сережа, с Китоврасом схожий».

То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.

«Я яровчатый стих»

и

«Приложитесь ко мне, братья»

противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а...*

Но об этом говорить не принято, и я оставлю это для «лицезрения в печати», кажется, Андрей Белый ждет уже....

В моем посвящении Клюеву я назвал его середним братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в «Коньке-горбунке», да и во всех почти русских сказках —

«Так и сяк».

Поэтому я и сказал: «Он весь в резьбе молвы»,— то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.

А я «сшибаю камнем месяц» и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.

Говорю Вам это не из ущемления «первенством» Солнценосца и моим «созвучно вторит», а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом...

И «Преображение» мое, посвященное Вам, поэтому будет напечатано в другом месте.

Любящий Вас

Сергей Есенин.

* Так в тексте.

42. А. БЕЛОМУ

(Москва, сентябрь — декабрь 1918 г.)

Дорогой Борис Николаевич, какая превратность: хотел Вас очень сегодня видеть и не могу. Лежу совсем расслабленный в постели.

Черкните мне (если не повезло мне в сей раз). когда Вы будете свободны еще.

Любящий Вас *С. Есенин.*

Адрес: Скатертный пер., д. 20
Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.

43. В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

(Москва, до 17 декабря 1918 г.)

В Профессиональный Союз писателей
Сергея Александровича Есенина

Заявление

Прошу зачислить меня в Союз писателей. Имею вышедших четыре книги: «Радуница», «Голубень», «Преображение» и «Сельский часослов».

Сергей Есенин.

1-й Тверской Комиссариат.
Крестовоздвиженский, 2, кв. 18.

44. В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

(Москва, декабрь, до 20, 1918 г.)

В Союз московских писателей
Сергея Александровича Есенина

Заявление

Прошу Союз писателей выдать мне удостоверение для местных властей, которое бы оберегало меня от разного рода налогов на хозяйство и реквизиций. Хозяйство мое весьма маленькое (лошадь, две коровы, нескольких мелких животных и т. д.), и всякий налог на него может выбить меня из колеи творческой работы, то есть вполне приостановить ее, ибо я, не эксплуатируя чужого труда, только этим и поддерживаю жизнь моей семьи.

Сергей Есенин.

Село Константиново Федякинской вол. Рязанской губ. и уез.

45. В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛУБ СОВЕТСКОЙ СЕКЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ-ХУДОЖНИКОВ И ПОЭТОВ

(Москва, февраль, не ранее 23,— март, не позднее 3, 1919 г.)

Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП, и активно проявляя это в моих поэмах и статьях, прошу зачислить меня в действительные члены литературно-художественного клуба Советской секции писателей-художников и поэтов.

Член секции: *Сергей Есенин.*

46. В ОТДЕЛ ПЕЧАТИ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

(Москва, до 18 февраля 1920 г.)

В Отдел Печати МСР и КД
т. Ангарскому

С. А. Есенина

Заявление

Прошу выдать мне разрешение на печатание книг:
«Радуница». 4 печатных листа. 3 тыс. экз.
«Преображение». 4 печатных листа. 3 тыс. экз.
«Телец». 12 печатных листов. 5000 экз.
«Словесная орнаментика». 3 печатных листа. 3 тыс. экз.

Примечания. 1) Издание «Тельца» является необходимым для автора как первый том, где будет выяснен подсчет его силы за 5-тилетнюю литературную работу.

2) «Радуница» и «Преображение» — две книги, показывающие революционное движение крестьянства, нуждающихся в закреплении худож<ественными> обра<зами>.

3) «Словесная орнаментика» необходима как теоретическое показание развития словесных знаков, идущих на путь открытий не выявленных возможностей человека.

Бумага для книг имеется. Одновременно прошу зарегистрировать марку Изд-ва автора «Злак».

Подпись

47. А. В. ШИРЯЕВЦУ

(Москва, 26 июня 1920 г.)

Милый Шура! Извини, голубчик, что так редко тебе пишу, дела, дорогой мой, ненужные и бесполезные дела съели меня с головы до ног. Рад бы вырваться хоть к черту на кулички от них и не могу.

«Золотой грудок» твой пока еще не вышел[1] и, думаю, раньше осени не выйдет. Уж очень трудно стало у нас с книжным делом в Москве...

...Живу, дорогой,— не живу, а маюсь, только и думаешь о проклятом рубле. Пишу очень мало. С старыми товарищами не имею почти ничего, с Клюевым разошелся, Клычков уехал, а Орешин глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. Я очень его любил[2], часто старался его приблизить себе, но ему все казалось, что я отрезаю ему голову, так у нас ничего и не вышло, а сейчас он, вероятно, думает обо мне еще хуже.

А Клюев, дорогой мой,— бестия. Хитрый, как лисица, и все это, знаешь, так: под себя, под себя. Слава богу, что бодливой корове рога не даются. Поползновения-то он в себе таит большие, а силенки-то мало. Очень похож на свои стихи, такой же корявый, неряшливый, простой по виду, а внутри — черт...

...Ты, по рассказам, мне очень нравишься, большой, говорят, неповоротливый и с смешными думами о мнимой болезненности. Стихи твои мне нравятся тоже, только, говорят, ты правишь их по указаниям жен туркестанских инженеров. За это, брат, знаешь, *мативируют*. И какой черт ты доверяешься вообще разным с...!

Пишешь ты очень много зрящего, особенно не нравятся мне твои стихи о Востоке[3]. Разве ты настолько уж осартился или мало чувствуешь в себе притока своих родных почвенных сил.

Потом брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с ее несуществующим Китежом и глупыми старухами, не такие мы, как это все выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Все это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет.

Посылаю тебе «Трерядницу»[4], буду очень рад, если ты как-нибудь сообщишь о своем впечатлении.

Твой *С. Есенин.*

48. Е. И. ЛИВШИЦ

(В поезде «Кисловодск – Баку», 11–12 августа 1920 г.)

Милая, милая Женя! Ради бога не подумайте, что мне что-нибудь от Вас нужно, я сам не знаю, почему это я стал вдруг Вам учащенно напоминать о себе, конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и это.

Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта[1], то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического.

Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого[2]. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной.

Простите, милая, еще раз за то, что беспокою Вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал[3], а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без

славы и без мечтаний[4]. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит *тогда* эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают.

Вы плавающая и идущая, Женя! Поэтому-то меня и тянет с словами к Вам...

Люб<ящий> Вас *С. Есенин.*

49. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, 4 декабря 1920 г.)

Декабрь 4, 1920.

...Мне очень и очень хотелось бы Вас увидеть, услыхать и самому сказать о себе. Уж очень многое накопилось за эти $2^1/_2$ г., в которые мы с Вами не виделись[1]. Я очень много раз порывался писать Вам, но наше безалаберное российское житие, похожее на постоялый двор, каждый раз выбивало перо из рук. Я удивляюсь, как еще я мог написать столько стихов и поэм за это время.

Конечно, перестроение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык. Но я потерял зато все то, что радовало меня раньше от моего здоровья. Я стал гнилее. Вероятно, кой-что по этому поводу Вы уже слышали.

Ну, а что с Клюевым?

Он с год тому назад прислал мне весьма хитрое письмо, думая, что мне, как и было, 18 лет, я на него ему не ответил, и с тех пор о нем ничего не слышу. Стихи его за это время на меня впечатление производили довольно неприятное. Уж очень он, Разумник Васильевич, слаб в форме и как-то расти не хочет. А то, что ему кажется формой, ни больше ни меньше как манера, и порой довольно утомительная. Но все же я хотел бы увидеть его. Мне глубоко интересно, какой ощупью вот теперь он пойдет?..

Жму Вашу руку

С. Есенин.

Если урвете минутку, то черкните, а я Вам постараюсь выслать «Сорокоуст» и «Исповедь хулигана».

50. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Ташкент, май 1921 г.)

Дорогой Разумник Васильевич!

...Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал[1], по-моему, Клюев совсем стал плохой поэт, так же как и Блок. Я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев как некогда пришибленный им не сумел отойти от его голландского романтизма, но все-таки они, конечно, значат много. Пусть Блок по недоразумению русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовке всех приходимцев, в этом они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их главным образом как мастеров в нашем языке.

Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка...

...Дорогой Разумник Васильевич, 500, 600 корней хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов дело довольно скучное, чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов.

Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов.

Ведь стихи есть определенный вид словесной формы, где при лирическом, эпическом или изобразительном выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, то есть слова входят в одну и ту же произносительную орбиту или более, или менее близкую. Но такие рифмы, какими переполнено все наше творчество:

Достать — стать
Пути — идти
Голубица — скрыться
Чайница — молчальница

и т. д. и т. д.

Ведь это же дикари только могут делать такие штуки. Положим, язык наш звучащих имеет всего 29 букв, а если разделить их на однородные типы, то и того меньше будет,

но все же это не годится. Нужно, если не буквенно, то хоть по смысловому понятию, уметь отделять слова от одинаковости их значения.

Поэтическое ухо должно быть тем магнитом, которое соединяет в звуковой одноудар по звучанию слова разных образных смыслов, только тогда это и имеет значение. Но ведь «пошла — нашла», «ножка — дорожка», «снится — синится» — это не рифмы. Это грубейшая неграмотность, по которой сами же поэты не рифмуют «улетела — отлетела». Глагол с глаголом нельзя рифмовать, уже по одному тому, что все глагольные окончания есть вид одинаковости словесного действия. Но ведь и все почти существительные в языке есть глаголы. Что такое синица и откуда это слово взялось, как не от глагола синеется, голубица — голубеется и т. д.

Я не хочу этим развивать или доказывать перед Вами мою теорию поэтических напечатлений. Нет! Я единственно Вам хочу указать на то, что я на поэта, помимо его внутренних импульсов, имею особый взгляд, по которому отказался от всяких четких рифм и рифмую теперь слова только обрывочно, коряво, легкокасательно, но разносмысленно, вроде: почва — ворочается[2], куда — дал[3] и т. д. Так написан был отчасти «Октоих» и полностью «Кобыльи корабли».

Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения:

«Головы моей желтый лист»[4],
«Солнце мерзнет, как лужа»[5] —

были образы двойного чувствования:

«Мария зажги снега» и «заиграй овражки»
«Авдотья подмочи порог»[6].

Это образы календарного стиля, которые создал наш великоросс из той двойной жизни, когда он переживал свои дни двояко, церковно и бытом.

Мария — это церковный день святой Марии, а «зажги снега» и «заиграй овражки» — бытовой день, день таянья снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие в России...

51. Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

(Москва, 6 марта 1922 г.)

1922, 6 март.
Москва.

Дорогой Разумник Васильевич!

...Журналу Вашему или сборнику обрадовался тоже чрезвычайно. Давно пора начать — уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней «в семью едину», потому, что мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братией, а Клюев засыхает совершенно в своей Баобабии. Письма мне он пишет отчаянные. Положение его там ужасно, он почти умирает с голоду.

Я встормошил здесь всю публику, сделал для него что мог с пайком и послал 10 миллионов руб. Кроме этого, послал еще 2 миллиона Клычков и 10 — Луначарский. Не знаю, какой леший заставляет его сидеть там? Или «ризы души своей» боится замарать нашей житейской грязью? Но тогда ведь и нечего выть, отдай тогда тело собакам, а душа пусть уходит к богу.

Чужда и смешна мне, Разумник Васильевич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегорский подвижник хочет все быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит.

«Рим» его, несмотря на то, что Вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянное впечатление произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. «Молитв молоко» и «сыр влюбленности» — да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими «бутербродами любви». Интересно только одно фигуральное сопоставление, но увы,— как это по-клюевски старо!.. Ну, да это ведь попрек для него очень небольшой, как Клюева. Сам знаю, в чем его сила и в чем правда. Только бы вот выбить из него эту оптинскую дурь, как из Белого — Штейнера, тогда, я уверен, он записал бы еще лучше, чем «Избяные песни». Еще раз говорю, что журналу Вашему рад несказанно. Очень уж опротивела эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходасевич стал первоклассным поэтом... Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и, в Германию отъезжая, благословил. Нужно обязательно про-

ветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем.

В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное...

С тоски перечитывал «Серебряного голубя». Боже, до чего все-таки изумительная вещь. Ну разве все эти Ремизовы, Замятины и Толстые (Алекс.) создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним. А какой язык, какие лирические отступления! Умереть можно. Вот только и есть одна радость после Гоголя.

Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко.

Хочется опять заработать, ибо внутри назрела снова большая вещь...

Жму Вашу руку.

С. Есенин.

52. А. В ЛУНАЧАРСКОМУ

(Москва, 17 марта 1922 г)

Наркому по просвещению
Анатолию Васильевичу Луначарскому

Заявление

Прошу Вашего ходатайства перед Наркоминотделом о выдаче мне заграничного паспорта для поездки на трехмесячный срок в Берлин по делу издания книг, своих и примыкающей ко мне группы поэтов, предлагая свои услуги по выполнению могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению.

В случае Вашего согласия прошу снабдить меня соответствующими документами.

Сергей Есенин.

1922, март 17.

53. Н. А. КЛЮЕВУ

(Москва, 5 мая 1922 г.)

Милый друг!

Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от «Ара». На днях вышлю еще 5 миллионов.

Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть, и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что причитается со «Скифов». Разговоры об условиях беру на себя и если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгодней их оплаты.

Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо...

В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации и пусто — хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда.

Перед отъездом я устрою тебе еще посылку. Может, как-нибудь и провертишься. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком — если этой паршивой спекулянтской «Эпохе» за гроши свой «Рим» продал. Раньше за тобой этого не водилось.

Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво. Ну, да ведь у каждого свой путь.

От многих других стихов я в восторге...

С. Есенин.

54. О. М. БЕСКИНУ

(Москва, 1 сентября 1924 г.)

Дорогой т. Бескин!

Я посылал письмо Белицкому и просил прислать мне денег из причитающейся мне суммы в 284 рубля, о которой мы условились с ним устно.

Книгу, по-моему, так выпускать не годится. Уж очень получается какая-то фронтовая брошюра. Посылаю для присоединения к ней балладу «26». О ней мы с Ионовым говорили уже. Потом лучше бы всего было соединить и последние мои стихи вместе с этой книгой. Это будет значительно и весче, чем в таком виде.

С дружеским к Вам приветом

С. Есенин.

1.9.24.

55. Г А БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, 17 октября 1924 г.)

Милая Галя! Привет Вам и Екатерине.

Сижу в Тифлисе. Дожидаюсь денег из Баку.

С книгами делайте что хотите. Доверенность прилагаю. Высылаю стихи. «Песнь о великом походе»[1] исправлена. Дайте Анне Абрамовне[2] и перешлите Эрлиху для Госиздата. Там пусть издадут «36» и ее вместе[3].

Отпишите мне на Баку, что делается в Москве. Спросите Казина[4], какие литературные новости. Приеду сам не знаю когда, вероятно, к морозам и снегу.

Напечатайте «36» в «Молодой гвардии»[5] и получите деньги.

Мне важно, чтоб Вы собрали и подготовили к изданию мой том так, как я говорил с Анной Абрамовной[6], лирику отдельно и поэмы отдельно. Первым в поэмах «Пугачев», потом «36», потом «Страна негодяев» и под конец «Песнь». Мелкие же поэмы идут впереди всего...

Целую и жму руки.

Сергей Есенин.

17/X.24.

Пишите, пишите.

56. Г А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, 29 октября 1924 г.)

Милая Галя! Я остаюсь пока на Кавказе, и останусь, вероятно, до мая.

Делать в Москве мне нечего. Все, что напишу, буду присылать Вам.

Посылаю Вам 2 стихотворения из «Персидских мотивов». После пришлю еще.

Издайте «Рябиновый костер» так, как там расставлено[1]. «Русь советскую» в конце исправьте. Вычеркните слово «даже», просто сделайте «но и тогда...» Потом — не «названьем», а «с названьем». Если Анна Абрамовна не бросила мысли о Собрании, то издайте по берлинскому тому[2] с включением «Москвы кабацкой» по порядку и «Рябинового костра». «Возвращение на родину» и «Русь советскую» поставьте после «Исповеди хулигана». «Москва кабацкая» полностью, как есть у Вас, с стихотворением «Грубым дается радость». «Персидские мотивы» не включайте.

Разделите все на три отдела: лирика, маленькие поэмы и большие: «Пугачев», «36», «Страна», «Песнь о походе». После «Инонии» вставьте «Иорданскую голубицу»

Вот и все.

Этого Собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрешь — сделают все не так, как надо...

С. Есенин.

29/X. 24.

57. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Тифлис, конец ноября 1924 г.)

Милая Галя!

Привет Вам и все прочее. Посылаю «Русь уходящую». Покажите Воронскому. Вставьте в книгу под конец, как я вам разместил, и продайте под названием «После скандалов». «Рябиновый костер»[1] я как название продаю здесь в Тифлисе, «36» давайте куда хотите. Привет сестрам. Крепко жму Ваши руки.

С. Е.

Напишите мне подробно, что делается в Москве. Как Воронский, Казин, Анна Абрамовна и др. Я не приеду до тех пор, пока не кончу большую вещь[2]. Как нравится «Русь уходящая»? Вещь, я над которой работаю, мне нравится самому. Отрывки пришлю из Баку. Пишите в Баку. Я там буду дней через 5 после этого письма и пробуду недели две.

С. Е.

58. П. И. ЧАГИНУ

(Батум, 14 декабря 1924 г.)

14/XII. 24.

Дорогой Петр Иванович!

Прости, голубчик, что не писал и не присылал стихов. Не скажу, чтоб было некогда, а просто заело безалаберное житие... Теперь сижу в Батуме. Работаю и скоро пришлю Вам поэму[1], по-моему, лучше всего, что я написал. Сейчас же посылаю «Цветы». Теперь же разговор вот какой: книжку я хочу назвать «Рябиновый костер»[2] и смешать поэмы с лирикой последнего периода.

Если б Муран был добр, то пусть он вырежет все стихи, которые печатались в «Бакинском рабочем», и пришлет мне. Я все это приведу в порядок и вышлю их тебе с полным описанием расположения книги...

Лившиц надо мной улыбается. Давай, говорит, Сергей, за Маркса тихо сядем...[3]

С. Есенин.

59 Г А БЕНИСЛАВСКОЙ

(Батум, 20 декабря 1924 г)

Галя, голубушка! Спасибо за письмо, оно очень меня обрадовало. Немного и огорчило тем, что Вы сообщили о Воронском...[1]

...Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия.

Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал еще более требователен. Только я пришел к простоте и спокойно говорю: «К чему же? Ведь и так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы»[2]. Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв. Вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей. Как Вам нравится «Письмо к женщине»? У меня есть вещи еще лучше. Мне скучно здесь. Без Вас, без Шуры и Кати, без друзей. Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу...

Галя милая, «Персидские мотивы» это у меня целая книга в 20 стихотворений[3]. Посылаю вам еще 2. Отдайте все 4 в журнал «Звезда Востока»...

Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко.

Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и успокоился...

Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так...

С. Е.

60. П. И. ЧАГИНУ

(Батум, 21 декабря 1924 г.)

Дорогой Петр Иванович! Спасибо за телеграмму. Хотя я денег и не получил, но мне дорого внимание друга.

Стихи посылаю вторично[1]. «Цветы», как хочешь, печатай или не печатай[2]. Это философская вещь. Ее нужно читать так: выпить немного, подумать о звездах, о том, что ты такое в пространстве и т. д., тогда она будет понятна.

Стихи о Персии я давно посвятил тебе[3]. Только до книги я буду ставить или «П. Ч.», или вовсе ничего. Все это полностью будет в книге. Она выйдет отдельно. 20 стихотворений. Скоро, быть может, приеду. Не забывай гонораром.

21/XII Твой любящий тебя

С. Есенин.

61. Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ

(Батум, 20 января 1925 г.)

...Скажите Вардину, может ли он купить у меня поэму 1000 строк. Лиро-эпическая. Очень хорошая. Мне 1000 р. нужно будет на предмет поездки в Персию или Константинополь. Вы же можете продать ее как книгу и получить еще 1000 р. для своих нужд, вас окружающих...

Пишу еще поэму и пьесу. На днях пришлю Вам две новых книги. Одна вышла в Баку, другая в Тифлисе. Хорошо жить в Советской России. Разъезжаю себе, как Чичиков, и не покупаю, а продаю мертвые души. Пришлите мне все, что вышло из новых книг, а то читать нечего. Ну пока. Жму руки. Приветы. Приветы.

С. Есенин.

20/I.25, Батум.

62. Т. Ю. ТАБИДЗЕ

(Москва, 20 марта 1925 г.)

Милый друг Тициан! Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей, и вспоминаю и рассказываю им о Тифлисе...

Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере — тут же качу

обратно к Вам, увидеть и обнять Вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собирается Качалов. Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше. Уложите его в доску. Парень он очень хороший и стоит гостеприимства. Спроси Паоло, какое нужно мне купить ружье по кабанам. Пусть напишет №.

Передай привет всем моим добрым друзьям — Паоло, Леонидзе и Гаприндашвили. Поцелуй руку твоей жене и дочке, и, если не трудно, черкни пару слов.

Брюсовский, д. 2, корпус «Правды» А, кв. 27, С. Есенину.
20/III.25.

63. Н. Н. НАКОРЯКОВУ

(Москва, 27 марта 1925 г.)

Тов. Накоряков!

Я уезжаю на Кавказ, возможно, надолго. Дело с альманахом «Поляне»[1] представляю себе так: сейчас набирается материал, но первый ударный № издается в начале сентября. За это время набирается попутно материал и для 2-го номера. Полагаю, что в этом году больше двух №№ издать не удастся[2].

Необходимым же условием начала работы считаю немедленную оплату принятого и процензуренного материала. Быть может, было бы лучше на редакцию сразу перевести тысячи две рублей. Кроме того, для ведения редакционных дел альманаха необходимо закрепить одного человека с соответствующей оплатой по должности заведующего редакцией и секретаря альманаха.

На эту работу редакционной коллегией представляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа.

Редколлегия окончательно сконструирована в таком виде: Вс. Иванов. Пав. Радимов и я. Список ближайших сотрудников будет представлен Вс. Ивановым или Наседкиным.

Уезжая, надеюсь, что Вы окажете всемерное содействие[3] несомненно большому и культурному делу.

С приветом

С. Есенин.

27/III. 25.

64. В. И. КАЧАЛОВУ

(Баку, 15 мая 1925 г.)

15 мая 1925 г.
Качалову

Дорогой Василий Иванович!

Я здесь. Здесь и напечатал, кроме «Красной нови», стихотворение «Джиму».

В воскресенье выйду из больницы (болен легкими). Очень хотелось бы увидеть Вас за 57-летним армянским. А?

Жму Ваши руки.
С. Есенин.

65. В ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ ГОСИЗДАТА

(Москва, 17 июня 1925 г.)

В Литературный отдел Госиздата
Сергея Есенина

Предлагаю литературному отделу издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г., сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000 т. Мое Собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось.

Сергей Есенин.

17/VI.25.

66. А. М. ГОРЬКОМУ

(Москва, 3 июля 1925 г.)

Дорогой Алексей Максимович!

Помню Вас с последнего раза в Берлине[1]. Думал о Вас часто и много.

В словах, и особенно письменных, можно сказать лишь очень малое. Письма не искусство и не творчество.

Я все читал, что Вы присылали Воронскому[2].

Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого.

Посылаю Вам все стихи, которые написал за последнее время.

И шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне.

Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову.

Любящий Вас

Сергей Есенин.

19.3/VII.25.Москва.

67 Я Е ЦЕЙТЛИНУ

(Москва, 13 декабря 1925 г.)

Дорогой товарищ Цейтлин. Спасибо Вам за письмо. Жаль только то, что оно застало меня очень поздно. Я получил его только вчера, 12/XII.25 г. По-видимому, оно провалялось у кого-нибудь в кармане из прожекторцев[1], ибо поношено и вскрыто. Я очень рад и счастлив тем, что мои стихи находят отклик среди николаевцев. Книги я постараюсь Вам прислать, как только выйду из санатория, в котором поправляю свое расшатанное здоровье.

Из стихов мне Ваших понравилась вещь о голубятне и паре голубей[2]. Вот если б только поправили перебойную строку и неряшливую «Ты мне будешь помощником... хошь»[3], я бы мог его отдать в тот же «Прожектор».

Дарование у Вас безусловное, теплое и подкупающее простотой, только не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов.

Не берите и не пользуйте избитых выражений. Их можно брать исключительно после большой школы, тогда в умелой рамке, в руках умелого мастера они выглядят по-другому.

Избегайте шатких, зыблемых слов и больше всего следите за правильностью ударений. Это очень нехорошо, что Вы пишете были́, вместо бы́ли.

Желаю Вам успеха как в стихах, так и в жизни и с удовольствием отвечу Вам, если сочтете это нужным себе. Жму Вашу руку.

Сергей Есенин.

Москва.
Остоженка, Померанцев пер., д. 3, кв. 8.

КОММЕНТАРИЙ

Из стихотворений, не вошедших в основное Собрание, подготовленное поэтом.

Из «Больных дум» (с. 12—26).— Это один из ранних, ныне известных стихотворных циклов поэта. Летом 1912 г. Есенин переписал шестнадцать стихотворений этого цикла в отдельную тетрадь и тогда же передал ее рязанскому знакомому — С. Д. Ильину. Подробнее см.: Есенин и русская поэзия: Сборник. Л., 1967. С. 331—333.

Поэт («Тот поэт, врагов кто губит...») (с. 27).— Посвящено Грише Панфилову. О нем см. с. 362 наст. тома.

Село (с. 31) — вольный перевод отрывка из поэмы «Княжна».

Кузнец (с. 33).— Напечатано 15 мая 1914 г в газ. «Путь правды» (в это время под таким названием выпускалась «Правда»). Напечатано в разделе «Движение рабочих».

Бельгия (с. 43).— В августе 1914 г. германские войска вторглись в нейтральную Бельгию. Мужественное сопротивление небольшой бельгийской армии захватчикам вызвало в те дни живой отклик многих писателей.

Греция (с. 59).— Под общим названием «Два сонета» опубликовано вместе со стихотворением «Польша» в журн. «Огниво» в 1915 г.

Написано в то время, когда Греция еще не сражалась на стороне государств против австро-германской коалиции. В войну она вступила в 1917 г.

Ахиллес, Патрокл, Гектор, Андромаха — герои, воспетые в «Илиаде».

Польша (с. 60).— В первой мировой войне Польша была захвачена немецкими и австро-венгерскими оккупантами. Стихотворение — отклик на эти трагические события.

Костюшко Тадеуш (1746—1817) — возглавлял польское восстание 1794 г.

«Тебе одной плету венок...» (с. 68).

Куга — болотная трава.

Смирна — благовонная смола.

Ливан — ладан.

«Небо ли такое белое...» (с. 102).

Умба — пристань на Белом море.

«Пушистый звон и руга...» (с. 104).

Руга — земля и угодья, отведенные церкви.

Завьялый — занесенный снегом.

Сельский часослов (с. 106).

Чернявский Владимир Степанович (1889—1948) — поэт, позже актер. Дружеские отношения с Есениным сложились в 1915—1916 гг в Петрограде.

...начертательница третьего завета... — Поэту видится его родина, несущая миру новое вероучение, после Ветхого завета (Библии) и Нового завета (Евангелия).

Израмистил — по Библии, в книге пророка Исаий, имя ожидаемого избавителя и преобразователя.

«И небо и земля все те же...» (с. 110).

Езекиильский глас ветров — Езекииль, или Иезекииль — библейский пророк, предсказавший освобождение евреев через муки и страдания.

...золотые мрежи — мрежа (мережа) — рыболовная снасть. Здесь ее образное преломление.

Кантата (с. 112).— Текст «Кантаты» состоял из трех частей. Первая часть принадлежит М. И. Герасимову, вторая — Есенину, а третья — С. А. Клычкову. Написана к торжественному открытию мемориальной доски на Кремлевской стене в память героев революции. Доска, выполненная скульптором С. Т. Коненковым, была открыта в дни Октябрьских торжеств 1918 г.

Памяти Брюсова (с. 121).— Стихотворение опубликовано в дни смерти В. Я. Брюсова. Тогда же Есениным написана статья о поэте (см. с. 290—291 наст. тома).

Капитан земли (с. 129).— Напечатано в газ. «Заря Востока» 21 февраля 1926 г. с примечанием: «Впервые публикуемое стихотворение Сергея Есенина «Капитан земли» написано в январе 1925 г в Батуми, накануне годовщины смерти Ленина».

1 мая (с. 133).— «Первое мая 1925 года,— вспоминает бакинский журналист В. Швейцер,— Есенин встречал на рабочем празднике в Балаханах.

Он переходил от группы к группе, оживленный, разговорчивый, поднимая тосты за рабочих, принимая тосты за поэзию» (Воспоминания. М., 1965. С. 409).

Пускай меня бранят за «Стансы»... – Имеется в виду статьн А. К. Вороиовского «На разные темы» (альм. «Наши дни» М Л 1925. № 5), в которой резко критиковалнсь «Стансы»

Не очень лефте! — имеетсн в виду «Левый фронт искусства» («Леф»)

«До свиданьн, друг мой, до свиданьн..» (с 150) Послед нее стихотворение Есенина. 24 декабрн 1925 г Есенин из Москвы приехал в Ленинград и остановилсн в гостиниице «Англетер» 25, 26, 27 де кабрн ои встречалсн со своими друаьями, многие бывали у него в номере. Е. А. Устинова, жившая в зтой же гостинице, вспоми нает, что днем 27 декабря она аашла в иомер к Есенину «Сергей Алек сандровнч стал жаловатьсн, что в зтой «паршивой» гостивице даже чериил нет и ему пришлось писать сегоднн утром кровью Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу вырвал нз блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во виутренний карман пиджака. Эрлих потянулсн ру кой за лнстком, но Есеиии его остановил: «Потом прочтешь, не вадо!» Поздиее мы сиова сошлись все вместе» (Воспоминанин. С. 160)

В. Эрлих вспоминает: «Часам к восьми и я поднялсн уходить. Простились. С Невского я вернулсн вторнчно· аабыл портфель.. Есе иин снде́л у стола спокойный, беа пиджака, иакинув шубу и просматрнвал старые стихн. На столе была развернута папка. Прости лнсь вторнчно» (Воспомииаиня. С. 456)

Стихотворение В. Эрлих прочитал только на следующий деиь после смерти Есенина. Напечатаиное в «Красной газете» в тот же день, оно вскоре стало широко иавестно.

ПРОЗА

Я р (с. 248).— В 1915 г. двадцатилетний поэт написал свою первую и единственную большую прозаическую вещь о дореволюционной рнзаи ской деревне — повесть «Яр», нелегкая судьба героев которой непосред ственно так нли иначе свнзана с зтими родиыми есенинскими местами.

По свидетельству Е. А. Есениной, повесть «Яр» была яаписана автором немногим более чем за две недели (Собр. соч. Т V С. 304)

В повести Есенияа немало местных рнзанских слов и выражений. Сестрой поэта, А. А. Есениной, был составлен словарь таких слов С небольшими сокращенинми он приводится ниже:

Артус — просфора, освнщеннан в первый день пасхи.

Бочаг — яма на дне реки, омут.

Брусница — деревннный футлнр длн точильного бруса. Во времн работы привязываетсн ремнем за спину косца.

Бурыга — ухаб, рытвина.

Бучень – птица выпь.

Воронок — медовая брага с хмелем.

Вяхирь сетчатый кошель для сена.

Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова повозки.

Еланка (елань) — прогалина, луговая равнина.

Жарница — глиняная миска для запеканок.

«Заря-зоряница...» — заговор от бессонницы. Есенин слышал его от матери.

Засемать — засуетиться, зачастить ногами.

Засычка (норовить в засычку) — задираться, ввязываться в драку в скандал.

Зубок — подарок новорожденному.

Калпушка — детский чепчик.

Кочатыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.

Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.

Лоск — лог, лощина или низкое место в поле.

Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.

Мускорно — трудно, кропотливо.

Мухортая — захудалая.

Наянно — навязчиво.

Ободнять — рассветать.

Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся на верх соломенной крыши.

Поставня — круглая корзиночка, плетенная из соломы, переви той мелким лозняком. В ней держат муку и в нее же кладут, как в форму, хлебное тесто для подхода.

Поязать — обещать.

Путро — месиво с мучными высевками для скота.

Пьяника — лесная ягода (голубика).

Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.

Суровика — лесная ягода.

Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.

Ушук — мгла.

Хруп — жесткий, крупный помол муки.

Цыбицы — чибисы.

Чапыга (чапыжник) — частый кустарник, непроходимая чаща.

Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и с широкими листьями.

Чичер резкий холодный ветер.

Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.

Бобыль и Дружок (с. 256).— Рассказ Есенина, несомненно, близок и перекликается со стихами поэта о «братьях наших меньших», и прежде всего со знаменитой «Песнью о собаке». Они были написаны почти одновременно, когда Есенину едва ли исполнилось двадцать лет.

Железный Миргород (с. 259).— В основу очерка, опубликованного Есениным в газ. «Известия» осенью 1923 г., легли впечатления от его зарубежной поездки.

В настоящем издании дается полный текст «Железного Миргорода», без каких-либо цензурных изъятий, как это происходило в прошлом.

Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия — вот европейские страны, которые посетил Есенин. Более четырех месяцев (со 2 октября 1922 г. по 4 февраля 1923 г.) он вместе с Айседорой Дункан проводит в США, 3 августа 1923 г. Есенин вернулся в Москву. Очерк «Железный Миргород» — правдивый художественный документ эпохи. Есенин предполагал продолжить очерк «Железный Миргород» и в следующей части «поговорить особо» о «той среде, которая называется рабочим классом». И в этом случае не обошлось без «помощи» критики.

После публикации в «Известиях» очерка «Железный Миргород» бывший сатириконец О. Л. Д'ора печатает в «Правде» рецензию-фельетон «Сергей Есенин в Америке. Личные воспоминания...» (28 августа 1923 г.). В издевательско-памфлетной форме он зло и незаслуженно высмеивает рассказ поэта об американских встречах.

...прошлогодней статьи Л. Д. Троцкого... — Осенью 1922 г. Троцкий напечатал в «Правде» несколько статей о литературе и революции. В одной из них он касается творчества литературных «попутчиков». К ним он относит Бориса Пильняка, Николая Тихонова и «Серапионовых братьев», «отчасти Клюева» и, наконец, «Есенина и группу имажинистов». Отметив, что они «были бы невозможны — все вместе и каждый в отдельности без революции», Троцкий особо подчеркивает, что «есть у них всех общая черта, которая резко отделяет их от коммунизма и всегда грозит противостоять ему. Они не охватывают революции в целом, и им чужда ее коммунистическая цель. Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не художники пролетарской революции, а ее художественные попутчики... Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции?». «Присматриваясь» далее «к попутчикам повнимательнее», особенно к Николаю Клюеву, Троцкий безапелляционно выносит свой «приговор» попутчикам: «Большинство попутчи-

ков принадлежит к мужиковствующим интеллигентам. Интеллигентское же принятие революции с опорой на мужика без юродства не живет Оттого попутчики не революционеры, а юродствующие в революции»

...Прочел о себе и грустно улыбнулся.— Рассуждая о Есенине, Троцкий главным образом затрагивает драматическую позму «Пугачев», отмечая при этом, что «попытка Есенина построить имажинистским методом «Пугачева» оказалась несостоятельной. И это несмотря на то, что автор украдкой изрядно-таки разгрузил свою вьючную образность». После критических замечаний о «Пугачеве» Троцкий касается заграничной поездки Есенина и дальнейшего пути поэта: «Если имажинизм, почти не бывший, весь вышел, то Есенин еще впереди. Заграничным журналистам он объявляет себя левее большевиков Это в порядке вещей и никого не пугает. Сейчас для Есенина-поэта, от которого попахивает *средневековьем* (курсив мой.— *Ю. П.*),— хоть он и левее нас грешных,— начались «годы странствий». Воротится он не тем, что уехал. Но не будем загадывать: приедет, сам расскажет» Именно это «лихое» высказывание Троцкого имеет в виду Есенин, именно с ним во многом полемизирует своим очерком.

С. 260. Поэмы Маяковского об Америке! — Имеется в виду поэма «150 000 000», написанная Маяковским в 1920 г.

Ваши «кузницы» и «лефы» — «Левый фронт искусства» («Леф») и «Кузница» — литературные группы 20-х годов. Входящие в них писатели проявляли повышенный интерес к достижениям техники, индустриальной тематике.

С. 261. В Штаты он нас впустить не может... — По прибытии в Нью-Йорк (1 октября 1922 г.) С. Есенину и А. Дункан как «большевистским агитаторам» не было разрешено сойти на берег. Разрешение на пребывание в США было получено 2 октября после допроса А. Дункан специальным иммиграционным комитетом.

Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены! — Есенин вспомнил сценку из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

С. 262. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.— Об этом эпизоде см. с. 320 наст. тома.

С. 266. Мани-Лейб — псевдоним М. Л. Брагинского, еврейского поэта-переводчика, переводил на идиш стихи Есенина. Есенин встречался с ним в Нью-Йорке.

...от периода Гофштейна до Маркиша.— Д. Н. Гофштейн и П. Д. Маркиш — советские еврейские поэты.

ИЗ КРИТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

Ярославны плачут (с. 268).— Долгое время текст этого, по всей вероятности, первого печатного выступления Есенина как крити-

ка оставался неизвестным. Хотя некоторые современники Есенина вспоминали эту статью, опубликованную в феврале 1915 г в журн «Женская жизнь». В 1975 г. статья «Ярославны плачут» была напечатана как забытое произведение в журн. «Молодая гвардия» № 10 (публикация С. Кошечкина).

«Внимая ужасам войны...» — Есенин начинает свою статью первой строкой известного стихотворения Н. А. Некрасова.

Мирра Лохвицкая (1869—1905) — поэтесса, известная в начале века.

Надежда Львова — поэтесса. В 1913 г., когда ей было 22 года, покончила с собой. Ей принадлежит стихотворение «Я оденусь невестой в атласное белое платье...». Его имеет в виду Есенин, цитируя, очевидно, по памяти.

С. 269. Плачет Щепкина-Куперник — известная русская поэтесса и переводчица Т. Л. Щепкина-Куперник (1874—1952). Цитируется ее стихотворение «Песня над рубашкой»

Любовь Столица (1884—1948) — поэтесса. Есенин цитирует ее стихотворение «Казак».

...Поэты, вам ли теперь молчать? — строка стихотворения «В далеком прошлом, в иные годы...» — напечатанного М. Трубицкой в сентябре 1914 г. в журн. «Нива»

...Полки стремятся врага встречать... — из того же стихотворения М. Трубицкой. Процитировано не совсем точно.

...Вы над орлами, разбившими грудь... — цитируется стихотворение поэтессы Е. Хмельницкой, опубликованное в ноябре 1914 г в журн. «Солнце России».

⟨Когда я читаю Успенского...⟩ (с. 272)

В 1915—1916 гг. в Петрограде Есенин встречался с литературным критиком и публицистом Львом Максимовичем Клейнбортом (1875—1950). Последний в своих воспоминаниях в 1926 г. рассказывает, как, при каких обстоятельствах появился отзыв об Успенском.

«Затеяв работу о читателе из народа — работу, опубликованную целиком уже в годы революции,— я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживавшие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Глеб Успенский. Разумеется, я не мог не интересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин. Оригинальнее всего он отозвался об Успенском» (Воспоминания. С. 150—152).

Рукопись Есенина, о которой рассказывает Клейнборт, включала шесть страниц. Известна из них только одна — шестая. Другие до сих пор не обнаружены.

С. 272. Видел его на Растеряевой улице.— «Нравы Растеряевой улицы» одна из книг Г. Успенского. Ее имеет в виду Есенин.

О «Зареве» Орешина (с. 273).

Знакомство Есенина с поэтом Петром Васильевичем Орешиным (1887—1938) произошло осенью 1917 г. в Петрограде. После первой встречи, как вспоминает Орешин, они «виделись часто и подолгу».

Когда в 1918 г. в Петрограде вышел первый сборник Петра Орешина — «Зарево», Есенин выступает в печати с рецензией, поддерживающей молодого автора.

«Кто любит родину?..» — строфы из стихотворения того же названия. Кроме него, в рецензии цитата из стихов «Дед-Краснобай» и «На заре».

...знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам...— Орешин начал печататься с 1911 г. (газ. «Саратовский вестник» и др.). Позднее его стихи публикуют петроградские журналы («Вестник Европы», «Заветы» и др.).

⟨О пролетарских писателях⟩ (с. 275).

В статье речь идет о сб. «Завод огнекрылый», выпущенном издательством Московского пролеткульта в 1918 г. и «Сборнике пролетарских писателей» (под ред. М. Горького, А. Сереброва, А. Чапыгина), который вышел в петроградском издательстве «Парус» в том же 1918 г.

...строки поэта Кириллова...— Владимир Тимофеевич Кириллов (1890—1943) — поэт. Есенин, очевидно, по памяти цитирует его стихотворение «Мы», написанное в 1917 г. Точно строфа звучит так:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

...по отношению к Софии футуристов...— В своих выступлениях, особенно коллективных манифестах, публиковавшихся в альманахах «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей», «Рыкающий Парнас» и др., футуристы решительно отвергали писателей-классиков, их связь с современностью: «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней» («Пощечина общественному вкусу»).

...волчею мудростью века по акафистам Ницше...— имеются в виду взгляды немецкого философа-идеалиста Фридриха Ницше (1844—1900).

Морозов Иван Игнатьевич (1883—1942) — поэт. В статье цитируется стихотворение «Из осенних мотивов», напечатанное в «Сборнике пролетарских писателей».

Худяков Кондратий Кузьмич (1887—1921) поэт. Цитируется по его стихотворению «Ночью» из «Сборника пролетарских писателей»

С. 277. Герасимов Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт

Цитируются его стихи «Кочегар» и «Ночью»

Повесть «Вольница» — напечатана в «Сборнике пролетарских писателей», автор М. Черноков.

С. 278. Бибик Александр Павлович (1877—1976) писатель

Безсалько Павел Карпович (1887—1920) — писатель.

Быт и искусство (с. 279).

Подзаголовок статьи «Быт и искусство» (Отрывок из книги «Словесные орнаменты») свидетельствует о том, что эта статья должна была явитьсн частью книги, которую Есенин, судя по его заявлению в отдел печати Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов, предполагал выпустить в 1920 г. Книга не выходила.

Вспомним тавров, будинов и сарматов... — названия древнейших народов, которые жили: тавры — на Крымском полуострове; будины (скифское племя), сарматы (савроматы) — между Доном и Волгой.

Описывая скифов, Геродот... — Имеетсн в виду «Историн греко-персидских войн» древнегреческого историка Геродота (ок. 484—425 гг. до н. э.).

С. 282. Взбрезжи, полночь, луны кувшин... — Есенин цитирует свое стихотворение «Хулиган».

...страны «Инония»... — См. коммент. к поэме «Инония» (т. 1, с. 464—465).

С. 283 ... «Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны...— Автором взяты выражения из народного календаря (месяцеслова). Конкретно они обозначают такие дни и времена года: 1 апреля — день Марии Египетской, 1 марта — день Евдокии, 5 февраля — день Аглотьи и Федулии.

У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова... — Имажинисты выступали против национального искусства, национальных традиций в поэзии. Так, В. Шершеневич открыто провозглашал: «Национальная поэзия — это асбурд; признать национальную поэзию, зто то же самое, что признать поэзию крестьннскую, буржуазную и рабочую. Нет искусства классового и нет искусства национального... любовь к родине — зто плохан сентиментальность» (Шершеневич В. Кому я жму руку. ⟨1920⟩. С. 23).

У Анатолия Франса есть чудесный рассказ об одном акробате... — Есенин вспоминает рассказ «Жонглер богоматери».

Вступление ⟨к сборнику «Стихи скандалиста»⟩ (с. 284).

4 стихотворения «Москва кабацкая»... — Имеются в виду стихотворения: «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Снова пьют

здесь, дерутся и плачут...», «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...», «Пой же, пой. На проклятой гитаре...».

Ответы на анкету о Пушкине (с. 289).— В 1924 г. журн. «Книга о книгах» разослал анкету о Пушкине. В дни 125-летия поэта ответы Есенина и ряда других писателей были напечатаны в журнале.

В. Я. Брюсов (с. 290).

Умер Брюсов...— В. Я. Брюсов скончался 9 октября 1924 г.

...О смерти Гиппиус и Мережковского...— Писатели, эмигрировавшие после Октябрьской революции за границу, где злобно выступали против Советской власти.

После смерти Блока...— А. А. Блок умер 7 августа 1921 г. *О, закрой свои бледные ноги.*— Имеется в виду стихотворение Брюсова из сборника «Русские символисты» (1895), состоящего всего из одной строки.

Но вас, кто меня уничтожит...—этими строками заканчивалось известное брюсовское стихотворение «Грядущие гунны».

Дама с лорнетом (с. 292).

С писателями Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским Есенин знакомится в марте — апреле 1915 г., когда приезжает в Петроград. Тогда же З. Гиппиус в журн. «Голос жизни», под псевдонимом Ромая Аренской, помещает статью, посвященную стихам молодого рязанского поэта. Один из современяиков Есенина вспоминает, что, прочтя статью, он с возмущеием заметил: «Она меня, как вещь, общупывает». Есеяин уже тогда, в 1915—1916 гг., прекрасно почувствовал истинное отношение к нему этих писателей. Об этом убедительно свидетельствует его письмо к Н. Ливкину от 12 августа 1916 г. (см. с. 328 наст. тома). Окончательно их пути разошлись во время революции, когда З. Гиппиус и Д. Мережковский оказались в эмиграции.

...проезжая Петербург, зашел к Блоку...— См. примеч. на с. 368 яаст. тома.

В газете «Eclair» Мережковский называл меня хамом...— имеется в виду клеветническое, по отношению к Есенину, выступление Мережковского в указанной парижской газете 16 июня 1923 г.

Лориган — французские духи.

Бедекер — путеводитель.

ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЫ

В литературном наследии Есепина особое место занимает его эпистолярная проза.

В настоящем издании публикуется большинство юношеских писем Есенияа, относящихся к 1911—1914 гг. В отдельный раздел

выделены письма, в которых затрагиваются вопросы, связанные с творчеством Есенина, его литературно-общественной и редакционно-издательской деятельностью, а также ряд зарубежных писем.

Письма Есенина — как роман его жизни. В письмах встает перед нами Личность поэта, его Время, Эпоха.

Юношеские письма Есенина

№ 1 (с. 294). Г. А. Панфилову.— Первое из известных есенинских писем, адресованных Панфилову Григорию Андреевичу (1895—1914), близкому другу по Спас-Клепиковской Второклассной учительской школе.

Известно 19 есенинских писем к Панфилову. Ранняя его смерть (Панфилов умер от туберкулеза в феврале 1914 г.) оборвала переписку.

1. Вероятнее всего, письмо утрачено. Других источников, говорящих о его содержании, нет.

2. Есенин приезжал к отцу, который работал у купца Н. В. Крылова в Замоскворечье.

3. Это была первая встреча поэта с миром большого города. «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва»,— скажет Есенин позднее, в 1922 г.

4. Клавдий Петрович Воронцов — один из близких друзей детства, воспитывающийся в доме И. Я. Смирнова — константиновского священника.

№ 2 (с. 294). Г. А. Панфилову.

1. Стихотворение неизвестно.

2. Дмитрий Пыриков, товарищ Есенина в Спас-Клепиках, умер 18 лет в 1912 г.

№ 3 (с. 295). Г. А. Панфилову.

1. Есенин в это время находится в Москве. «Отец,— рассказывает сестра поэта А. А. Есенина,— вызвал его к себе в Москву и устроил работать в конторе к своему хозяину с тем, чтобы осенью Сергей поступил в учительский институт».

2. Стихотворение не найдено. Позже Анне Сардановской Есенин посвятил стихотворение «За горами, за желтыми долами...».

3. Иван Клеменов, уроженец с. Кузьминское, по словам Есенина, «первый давал наставления... любить деревню... писать об эпосе земли и вечной поэме весеннего труда в полях» (Вопр. литературы. 1975. № 10. С. 238—239).

№ 4 (с. 296). Г. А. Панфилову.

1. По свидетельству А. А. Есениной — сестры поэта, он непродолжительное время работал в книжном магазине. Там имелись кни-

готорговые проспекты. Некоторые иэ них Есенин отправил клепиковскому другу.

2. Подробно о работе над «Пророком» мы уэнали яэ писем Есенина к М. П. Бальзамовой, публикуемых ниже.

3. Рукопясь «Пророка» неиэвестна.

№ 5 (с. 297). Г. А. Панфялову.

1. Строки стихотворения С. Я. Надсона «Умерла моя муза!.. Недолго она...».

№ 6 (с. 298). Г. А. Панфилову.

Письмо характерно для периода напряженных нравственных и мировоззренческих поисков молодого поэта.

1. Имеется в виду основатель древней восточной религии — буддизма, мифический мудрец Сакья-Муни, прозванный «Будда», что значит «просветленный».

2. Дать широкому слою чятателей доступный по форме и разнообразный материал для всестороннего духовного развития — такую цель ставил журнал (см.: Огни, 1912. № 2).

3. Пасха пряходилась в 1913 г. на 14 апреля. В это время журяал перестал выходить.

№ 7 (с. 300). М. П. Бальзамовой.

С Марией Парменовиой Бальзамовой (1896—1950) Есенин встретился впервые летом 1912 г. в Константинове. К тому времени она, окончив епархиальное учялище, начала трудяться в школе села Калитинки Рязанской губ. Возникшая между ними дружба и переписка продолжалась несколько лет. Сохранилось 17 писем поэта к Бальзамовой. Об этом подробяее см. сб. «Есенин и современность». М., 1975. С. 245—255.

1. Строки из седьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

2. Письма поэта к А. Сардановской до настоящего времени не публиковались.

3. Завершена ли была поэма — неиэвестно, текст ее не яайден.

№ 8 (с. 301). Г. А. Панфилову.

1. А. А. Есенина вспоминает: «Отец не верял, что можно прожять на деньги, эаработанные стихами. Ему каэалось, что ничего путного из этого не выйдет» (журн. «Молодая гвардия». 1960. № 8).

2. Имеется в виду брат матери поэта — И. Ф. Титов. Поездка не была осуществлена.

3. Из стихотворения «Поэт» (Дума) А. В. Кольцова. Цитация неточная, очевядно по памяти.

4. Было ли закончено стяхотворение — неизвестно, текст яе обнаружен.

№ 9 (с. 303). Г. А. Панфилову.

1. Строки из поэмы «Саша» Н. А. Некрасова. Цитируется не совсем точно, очевидно по памяти.

2. См. примеч. к письму № 4.

№ 10 (с. 305). М. П. Бальзамовой.

1. Ранее о замысле «Пророка» говорилось в одном из писем Панфилову (№ 4).

2. О конкурсе см. журн. «Вопросы литературы». 1976. № 4.

№ 13 (с. 308). М. П. Бальзамовой.

1. Далее письмо написано мелким почерком.

2. Речь идет о «Пророке».

№ 14 (с. 310). М. П. Бальзамовой.

1. О предполагаемой публикации каких стихов говорится в письме — до сих пор не установлено.

2. Стихотворение неизвестно.

№ 15 (с. 312). Г. А. Панфилову.

1. Речь идет об участии рабочих-печатников типографии Сытина в однодневной общемосковской забастовке 23 сентября 1913 г.

2. Работающая вместе с Есениным корректор М. Мешкова рассказывает: «Когда арестовали несколько наборщиков, мы все это видели, возмущались. Есенин был особенно взволнован и расстроен случившимся» (цит. по записи беседы с М. М. Мешковой 4 февраля 1962 г.).

№ 16 (с. 312). Г. А. Панфилову.

1. Строки широко известной революционной песни «По пыльной дороге телега несется...».

2. Есенин как бы напоминает другу об обращении Белинского к Гоголю в его знаменитом письме 1847 г.: «...вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека...»

3. Цитируются строки стихотворения поэта Соловьева Владимира Сергеевича (1853—1900): «Израиля ведя стезей чудесной...»

4. Из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно...».

5. Письмо А. Н. Есенина к Панфилову неизвестно.

6. До настоящего времени остается неизвестным, о какой «неосторожности» конкретно идет речь. Всего вероятнее, что Панфилов весьма откровенно и явно сочувственно высказывает свое отношение к революционным событиям в Москве, о которых сообщил ему Есенин.

7. Есенин и сам прибегает к подобной «конспирации». Так, письмо об аресте рабочих-печатников написано им резко измененным почерком, абсолютно непохожим на его почерк.

8. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве хранится дело, заведенное на Есенина Московским охранным отделением. В охранке Есенин имел кличку «Набор». Полиция отнюдь не случайно заинтересовалась Есениным. В марте 1913 г. в руки

Московского охранного отделения попал важный документ, заставивший охранку обратить внимание на молодого рабочего типографии Сытина. Документ этот — письмо «пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого района», резко осуждавших раскольническую деятельность ликвидаторов и антиленинскую позицию газ. «Луч». Пятьдесят подписей стоит под этим письмом. Среди них — подпись Сергея Есенина.

9. Для более глубинного, эмоционального состояния своей души, мыслей и чувств, владеющих им в данный момент, окружающей его обстановки, Есенин, как уже было не однажды замечено, вводит в текст своих писем выразительные песенные строки, народные крылатые слова, стихотворные строфы многих поэтов. Приводя их большей частью по памяти, Есенин, случается, дает им как бы свою «вольную» редакцию, всегда точно при этом сохраняя их сокровенный смысл. Так поступает он и в данном случае со строками известного стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

10. Опять тот же случай. Есенин дает свою «редакцию» одной из строк стихотворения Кольцова «Песня» («Не скажу никому, отчего я весной...»).

11. Во время Декабрьского вооруженного восстания в 1905 г. дружинники-сытинцы с оружием в руках сражались на баррикадах, возведенных на Пятницкой улице.

12. См. стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...».

13. Из стихотворения М. Лохвицкой «Я хочу умереть молодой...».

14. Русская народная песня (первый куплет).

15. Есенин вспоминает эпизод из «Мертвых душ» Гоголя.

№ 17 (с. 314). Г. А. Панфилову.

1. Пока не выяснено, что за стихотворение и в какой газете предполагал поместить Есенин.

2. В. Ропшин (псевдоним писателя Б. В. Савинкова, 1879—1925) изображает события 1905 г. явно односторонне.

№ 20 (с. 318). Г. А. Панфилову.

1. Всего вероятнее, речь идет о журн. «Мирок», напечатавшем в январе 1914 г. стихотворение «Береза».

2. 25 февраля 1914 г. Панфилов умирает от туберкулеза легких.

№ 21 (с. 318). Г. А. Панфилову.

Этому письму суждено было стать последним в переписке Есенина с Панфиловым. Написано оно на обороте фотографии поэта («Какова моя персона?») и было отправлено из Москвы не ранее второй половины февраля. В детских журналах за этот месяц впервые напечатаны стихи Есенина за подписью автора, а не под псевдонимом «Аристон».

№ 22 (с. 319). М. П. Бальзамовой.

1. Есенин предполагал напечатать сборник «Рязанские прибаски, канавушки и страдания». С атим, очевидяо, связано его обращение к Бальзамовой

Из зарубежных писем

В настоящее издание включены (полностью или частичяо) ряд заграничных писем Есенина. Остается заметить, что зарубежяые письма, несомненно, дополняют и расширяют картину, воссозданяую в есенинском очерке «Железный Миргород» (см. коммент. к нему и другим материалам, касающимся зарубежной поездки, с. 356—357 наст. изд.)

№ 23 (с. 319). И. И. Шнейдеру.

1. Шнейдер Илья Ильич (1891—1980) — газетный репортер, журналист, автор книги «Записки старого москвича» и «Встречи с Есениным». Занимался организационно-адмияистративными делами балетной школы-студии А. Дункан, создаваемой в Москве. Тогда же знакомится с Есениным. В дальнейшем заведует этой студией.

2. Есенин имеет в виду книгу немецкого философа-идеалиста Освальда Шпенглера (1870—1936) — «Закат Западного мира» (в русском переводе «Закат Европы»).

№ 24 (с. 320). М. М. Литвинову.

Литвинов Максим Максимович (1876—1956) — видный советский дипломат. Есеяин обращается к нему в то время, когда Литвинов как заместитель наркома иностранных дел возглавлял советскую делегацию на международной конференции в Гааге.

1. В берлинском «Кафе Леон», где обычно собирались по-разному настроеяные русские интеллигеяты-эмигранты, 12 мая 1922 г состоялось первое выступление Есенина. Поэт пришел один. Начал читать стихи. Через некоторое время появилась Дуякан, неожиданно предложившая в честь Есенина спеть «Интернационал». Она и Есенин запели, к ним присоединились из зала. Из зала же раздался свист, крики «долой!». Есенин вскочил на стул: «Вы все равяо не пересвистите!» И продолжал петь. И снова читал стихи (см.: Шнейдер И. Встречи с Есениным. М., 1965. С. 59). В Гаагу Есенин не поехал 4 июля 1922 г. у бельгийского консула в Кельне он получил визу разрешающую ему и Дункан с 5 июля двухнедельное пребывание в Брюсселе.

№ 25 (с. 320). А. М. Сахарову (частично).

Сахаров Александр Михайлович (1891—1952) — издательский работник. С Есениным познакомился в 1919 г. Позднее Есенин посвятил Сахарову «маленькую поэму» — «Русь советская». Подробнее см. Собр. соч. Т. 6. С. 296—297.

1 Нарицательное выражение по имени одного из героев романа Ф М. Достоевского «Братья Карамазовы» — Смердякова.

2. Речь идет о поэте А. Б. Мариенгофе.

№ 26 (с. 321). А. Б. Мариенгофу (частично).— Об адресате письма см. коммент. к стихотворению «Я последний поэт деревни...» (т 1, с. 460).

1. Есенин имеет в виду себя и Мариенгофа. Задуманные издания не были осуществлены. Лишь в Париже на французском языке в 1922 г. вышла книга Есенина «Исповедь хулигана» (перевод Ф. Элленса и М. Милославской).

2. См. коммент. к письму М. М. Литвинову, с. 366 наст. тома.

3. Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) — издатель, по приезде Есенина в Берлин подписавший с ним договор и выпустивший его книгу «Собрание стихов и поэм», т. 1 (Берлин, 1922).

4. Объявление о выходе книги Есенина и Мариенгофа было помещено в газ. «Накануне» 28 мая 1922 г. По неизвестной причине книга не была напечатана.

5. См. статью историка литературы и критика Когана Л. С. (1872—1932) «Есенин» в журн. «Красная новь» № 3 за 1922 г., в которой, в частности, говорилось, что «бунт Есенина это — крестьянский бунт, без выдержки, бунт не прочный, срывающийся и тем не менее близкий и сродный социальной революции».

№ 27 (с. 322). А. Б. Мариенгофу (частично).

1. Речь идет о выступлении певицы легкого жанра Кремер Изы Яковлевны, эмигрировавшей из России после Октября 1917 г

ИЗ ПИСЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ

№ 28 (с. 323). А. В. Ширяевцу.

Уже в ранний период Есенин завязывает контакты с теми из молодых поэтов, которые близки ему творчески. Характерно в этом отношении и настоящее письмо, отправленное им Александру Ширяевцу, находившемуся в то время в Ташкенте. В дальнейшем Александр Ширяевец станет одним из самых близких друзей Есенина. В мае 1921 г. Есенин встречается с Ширяевцем в Ташкенте. С 1922 г. до своей смерти в 1924 г. Александр Ширяевец живет в Москве.

1. В январском номере журн. «Друг народа» опубликовано есенинское стихотворение «Узоры» и «Хоровод» Ширяевца.

2. Имеется в виду «Ежемесячный журнал», где в 1914 г. было напечатано несколько стихотворений Ширяевца.

3. «Метель» — так называлось стихотворение Ширяевца, помещенное во втором номере этого журнала за 1915 г.

4. Поэт Клычков (псевдоним; наст. фамилия Лешенков) Сергей Антонович (1889—1940).

5. Псевдоним писателя Каменского Алексея Владимировича (1887—1942).

6. Поэт Росславлев Александр Степанович (1883—1920).

7. В этом издании стихи Есенина появляются несколько позднее, спустя три месяца после приезда в Петроград (в марте 1915 г.). В шестой (июньской) книжке журнала были опубликованы: «Сыплет черемуха снегом...», «Девичник» («Я надену красное монисто...»), «Троица» («Троицыно утро, утренний канон...»).

8. В Москве в четырнадцатом году стал выходить литературный журнал «Млечный Путь». В нем впервые напечатаны стихотворения Есенина «Кручина» («Зашумели над затонами тростники...») и «Выткался на озере алый свет зари...».

9. В этом и других номерах журнала стихотворение «Городское» не печаталось.

№ 29 (с. 325). А. А. Блоку.

Встреча состоялась 9 марта 1915 г. «Днем у меня рязанский парень со стихами»,— отмечает Блок в тот день в записной книжке. Со своими краткими рекомендательными письмами он направляет Есенина к поэту С. М. Городецкому и литератору М. П. Мурашеву.

№ 30 (с. 325). Н. А. Клюеву.

Лично Есенин с Клюевым встретился впервые осенью 1915 г. Отсюда берет начало их «дружба-вражда», о которой Есенин говорит в автобиографиях. Находит это также отражение в письмах и стихах двух поэтов.

1. О С. М. Городецком см. коммент. т. 1, с. 456.

2. Позднее, в 1921 г., Есенин в беседе с И. Н. Розановым подчеркивал: «С детства ... болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний, и были ошибочные пути. Вот, например, знаете ли вы мою «Радуницу»... В первом издании у меня много местных рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали» (Розанов И. Н. Есенин о себе и других. М., 1926. С. 13—14).

3. Имеется в виду статья «Земля и камень» в журн. «Голос жизни» (Пг., 1915. № 17. 22 апр.).

4. Осенью Городецкий не смог организовать издание книги Есенина «Радуница», вышла в начале 1916 г.

5. Литературно-художественное объединение «Краса» возникает весной 1915 г. Предполагался выпуск альманаха «Краса», других изданий, включая «Радуницу» Есенина, проведение литературно-музыкальных вечеров и встреч членов «Красы». Однако проведя пер-

вый вечер 25 октября 1915 г. в концертном зале Тенешевского училища, в котором участвоввл и Есенин, «Краса» практически прекратила дальнейшую деятельность.

№ 32 (с. 326). Д. В. Философову.

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — публицист и литературный критик.

1. Имеется в виду «Радуница» (1916 г.). Что касается второй, то, всего вероятнее, речь идет о задуманном Есениным в то время сб. «Авсень» (замысел не был реализован).

2. Речь идет о стихотворении «Микола». Философов передал его в газ. «Биржевые ведомости» (25 августа 1915 г.).

3. С отъездом в Петроград весной 1915 г., а затем — призывом на военную службу Есенин не смог продолжать занятия в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского.

4. Будучи в 1915—1917 гг. в Петрогрвде, Есенин не смог их напечатать. Лишь в 1918 г. ему удалось опубликовать в московской газ. «Голос трудового крестьянства» (19 и 29 мая; 2 и 8 июня) более ста частушек, собранных и записанных им в рязанском крае.

5. Журнал перестал выходить с июля 1915 г.

№ 33 (с. 327). М. В. Аверьянову.

Аверьянов Михаил Васильевич (1867—1941) — издатель.

№ 36 (с. 328). Н. Н. Ливкину.

Еще в 50-е годы довелось ознакомиться с письмом Есенина, относящимся к 1915 г., где речь шла о таком «дрянном человеке, как Ливкин», который сумел сделать ему, Есенину, зло: «Он вырезал из «Млечного Пути» несколько своих стихов и еще чужих и прислал их в петроградский «Новый журнал для всех» с таким заявлением: «Если вы напечатали стихотворение Есенина, то думаю, что не откажетесь и наши». «Это подлость,— замечает Есенин и добавляет: — Я возмущен до глубины души» (см.: Собр. соч. Т. 6. С. 61—62). Кто такой Ливкин, почему он так поступил со стихами Есенина? — никто в то время не знал. В начале 60-х годов удалось разыскать Николая Николаевича Ливкина, в недавнем прошлом работника типографии, находящегося на пенсии. Когда-то он вместе с Есениным печатал стихи в журн. «Млечный Путь». Он рассказал о «конфликте» с Есениным и о письме, полученном от Есенина из Петрограда, разрешив его напечатать. Тогда же оно было опубликовано (см.: Прокушев Ю. Есенин, каким он был//Огонек. 1965, окт № 40).

«По совету редактора «Млечного Пути» А. М. Чернышева,— заметил Ливкин во время нашей беседы,— я написал письмо Есенину с извинениями и объяснениями и получил ответ — это письмо».

1 Отправленное Ливкнным письмо Есенину — неизвестно.

2. Есенин был призван в армию 26 марта 1916 г. Служил солдатом-саннтаром в Царскосельском полевом военно-санитарном поезде № 143, неоднократно выезжал с поездом к линии фронта. Вся корреспонденция на поеад доставлялась в Феодоровский собор яа имя Д. Н. Ломана, который был главноуполномочеиным по зтому поезду и одновременяо ктитором (церковным старостой) собора. Подробнее см.: Вдовин В. Материалы к биографии Есенина//Вопр. лнтературы 1970. № 7. С. 171.

3. Имеется в виду «Новый журнал для всех», выходящнй в Петрограде.

4. Слова из арии Германа в опере «Пнковая дама» П. И. Чайковского.

№ 37 (с. 330). Л. Н. Андрееву.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — известный русский писатель. В то время в газ. «Русская воля» возглавлял отделы беллетристики, критики, театра.

1. 14 октября 1916 г. Есеяин и Клюев побывали у писателя Ремизова Алексея Михайловича (1877 - 1957)

2. Какие стихи, ие устаяовлеяо, в «Русской воле» Есеиии не печатался. Оставленая кяига — «Радуяица»

№ 40 (с. 331). А. В. Ширяевцу

1. Есения имеет в виду одну из строк пушкннского стихотворення «Если жизнь тебя обманет...»

2. Речь идет о великом художнике Древней Русн Андрее Рублеве (ок. 1360—70-х — ок. 1430).

3. Виааятийский автор, живший в VI в., Индикоплов Косьма, см о нем т. 1 с. 465.

4. Есенин подчеркивает суть расхождений между «крестьянской купнинцей» и «питерскими лнтераторами», иапомииая прн зтом Ширяевцу о его стихотворении «Утес Разииа» и блоковском — «Новой Америке».

5. Имеется в виду З. Н. Гнппиус.

6. Есеиня вспоминает статью В. Г. Белинского «О жизни и сочияеннях Кольцова». Высоко отзываясь о таланте н стихах воронежского поэта, Белннский с явиым сожалением, сочувствеиио замечает, что, встречаясь с Кольцовым, он не заметнл «нннкаких признаков образоваиия».

7. Миролюбов рассказал Есенину об «обиде» Ширяевца на Блока, с которым ему так и не удалось встретиться.

8. В 1915—1916 гг. в Петрограде некоторое время действует литературно-художественное общество «Страда». В апреле 1916 г общество выпустило первый сборяик. В нем Есеннн печатает стихот-

ворение «Теплый вечер» Второй сборник «Страды» вышел в 1917 г Стихов Есенина в нем не было.

9. Речь, вероятно, идет о сб. «Голубень», первое издание которого вышло в 1918 г. (изд. «Революционный социализм»)

10. Очевидно, имеется в виду сб. «Красный звон» (Пг., 1918 г) Стихов Ганина и Клычкова в нем нет.

11. Во втором сб. «Скифы» — его готовил к печати летом 1917 г Иванов-Разумник, вышел он в декабре того же года — стихов Ширяевца нет. Журн. «Заветы» в это время перестал выходить.

№ 44 (с. 335). В профессиональный Союз писателей. — На этом письме-заявлении отмечено: «Принят 17.XII — 918»

№ 45 (с. 336). В литературно-художественный клуб. — В ноябре 1918 г. при Союзе советских журналистов организуется советская секция Союза писателей-художников и поэтов. Есенин избирается в состав президиума секции. В начале марта 1919 г. при этой секции открывается литературно-художественный клуб, заявление о приеме в который подает Есенин. Подробнее см.: Вдовин В. Материалы к творческой биографии С. Есенина//Вопр. литературы. 1975. № 10.

№ 47 (с. 337). А. В. Ширяевцу.

1. Сборник предполагало выпустить изд. «Московская трудовая артель художников слова». Книга не выходила.

2. Вспомним, с каким радостным соучастием встретил Есенин выход первой книги Орешина «Зарево» (см. рец. на эту книгу в наст томе, с. 273 и коммент. к ней на с. 359).

3. Есенин имеет в виду сборник Ширяевца «Край солнца и Чимбета (Туркестанские мотивы)», который вышел в Ташкенте (1919 г.)

4. Этот сборник выпущен московским изд. «Злак» в 1920 г.

№ 48 (с. 338). Е. И. Лившиц (частично).

В 1920 г. в Харькове Есенин знакомится с Лившиц Евгенией Исаковной (1901—1961). Ей адресовано несколько писем поэта.

1. Есенин вспоминает здесь, очевидно, строки стихотворения А. К. Толстого «Юнкер Шмидт», входящего в знаменитые «Сочинения Козьмы Пруткова».

2. Именно этот взволновавший Есенина эпизод с жеребенком послужил основой для создания образа «красногривого жеребенка» в «Сорокоусте» (см. т. 1, с. 260 наст. изд.).

3. Утопические мечты о социализме, как «золотом веке» и свободном «мужицком рае» на земле, столь вдохновенно воспетые поэтом в его «Инонии» (1918 г.), вступили в кричащие противоречия с суровой революционной действительностью эпохи военного коммунизма. Во взглядах, а главное, произведениях Есенина прежде всего находили свое отражение те конкретные, объективные противоречия, которые

характерны для русского крестьянства в период пролетарской революции.

4. Есенин имеет в виду остров Святой Елены, где в ссылке умер Наполеон.

№ 49 (с. 339). Р. В. Иванову-Разумнику.

1. С переездом Есенина в марте 1918 г. из Петрограда в Москву он с Ивановым-Разумником не встречался.

№ 50 (с. 340). Р. В. Иванову-Разумнику (частично).— Этот черновой вариант письма составлен Есениным во время пребывания в Ташкенте весной 1921 г. Письмо осталось незаконченным. Адресат его не получил. Оно сохранилось в архиве Ширяевца.

1. Имеется в виду письмо Есенина к Иванову-Разумнику от 4 декабря 1920 г.

2. Есенин приводит рифму одной из строф поэмы «Пугачев»: «Мне нравится степей твоих медь//И пропахшая солью почва.// Луна, как желтый медведь,//В мокрой траве ворочается».

3. Несколько измененная рифма одной из строф поэмы «Кобыльи корабли»: «Им не нужно бежать в туда — //Здесь, с людьми бы теперь ужиться.//Бог ребенка волчице дал,//Человек съел дитя волчицы».

4. Строки из поэмы «Кобыльи корабли».

5. Строки из поэмы «Кобыльи корабли».

6. См. коммент. к статье «Быт и искусство» на с. 360 наст. тома.

№ 55 (с. 345). Г. А. Бениславской (частично).

Бениславская Галина Артуровна (1897—1926) — издательский работник, журналист, с 1923 г. сотрудник редакции газ. «Беднота». Знакомство Бениславской с Есениным относится к концу 1920 г. Дружеские отношения между ними складываются позднее, в 1924—1925 гг.

1. Поэма была напечатана в одном из сентябрьских номеров газ. «Заря Востока». После этой публикации Есенин сделал ряд исправлений и уточнений в тексте «Песни...» и прислал его Бениславской.

2. *Берзинь* Анна Абрамовна (1897—1961) — писательница, издательский работник. Как редактор отдела крестьянской литературы Госиздата участвует в выпуске отдельным изданием «Песни о великом походе» и других сборников Есенина.

3. В Ленинградском отделении Госиздата такой сборник не выходил.

4. *Казин* Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. Заведовал отделом поэзии журн. «Красная новь», где печатался Есенин.

5. Поэма Есенина в этом журнале не публиковалась.

6. Принцип составления и построения этого тома (издание не было осуществлено) будет в дальнейшем положен Есениным в основу своего трехтомного Собрания стихотворений, договор на выпуск которого он подписал с Госиздатом в июне 1925 г.

№ 56 (с. 345). Г. А. Бениславской (частично).

1. Сборник в Москве не выходил. Осталось также не осуществленным намерением поэта выпустить его в Тифлисе (см. письмо Есенина к Бениславской, конец ноября 1924 г.) или Баку (см. письмо к Чагину от 14 декабря 1924 г.). Позднее так был назван раздел в сборнике «Персидские мотивы».

2. Имеется в виду том Собрания стихов и поэм Есенина, который был выпущен изд. З. И. Гржебина в 1922 г. в Берлине.

№ 57 (с. 346). Г. А. Бениславской.

1. Книги не были изданы.

2. Имеется в виду поэма «Анна Снегина», работа над ней была завершена в январе 1925 г.

№ 58 (с. 346). П. И. Чагину (частично).

Чагин Петр Иванович (1896—1967) — видный партийный и издательский работник, журналист. В годы знакомства с Есениным — редактор газ. «Бакинский рабочий». В этой газете впервые напечатана «Анна Снегина» и многие стихи поэта. С предисловием Чагина в Баку вышел сб. стихов Есенина «Русь советская». Поэт посвятил ему «Персидские мотивы» и стихотворение «Стансы».

1. В Батуми в январе 1925 г. была завершена «Анна Снегина»

2. См. коммент. к письму Г. А. Бениславской от 29 октября 1924 г. (т. 2, с. 373).

3. 26 октября 1924 г. газ. «Заря Востока», редактором которой был *Лифшиц (Лившиц)* Михаил Осипович, напечатала стихотворение Есенина «Стансы». В нем Чагин, обращаясь к поэту, говорит: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем...» Эти-то строчки и напоминал Лившиц Есенину.

№ 59 (с. 347). Г. А. Бениславской (частично).

1. Речь идет о критике-публицисте А. К. Воронском, ответственном редакторе журн. «Красная новь». Введение в состав редакционной коллегии журнала Ф. Раскольникова и Вл. Сорина, придерживающихся сектантско-рапповской ориентации, ослабляло его позиции. Сообщение Бениславской об этих «затруднениях» Воронского и расстроило Есенина.

2. Есенин приводит в своей «редакции» строки из поэмы «Домик в Коломне». У Пушкина они звучат так: «К чему? скажите; уж и так мы голы.//Отныне в рифмы буду брать глаголы».

3. Таков, очевидно, был первоначальный замысел. Первое издание книги «Персидские мотивы» включало 10 стихотворений цикла, позднее им были написаны еще пять. В окончательной редакции цикл включает 15 стихотворений.

№ 60 (с. 348). П. И. Чагину.

1. Какие стихи, не установлено.

2. 4 нняваря 1925 г. в однодневной газ «Арена» было помещено стихотворение «Цветы»

3. «С любовью и дружбой Петру Ивановичу Чагину» — с таким посвящением вышел сб. «Персидские мотивы», выпущенный изд. «Современная Россия» в июне 1925 г.

№ 62 (с. 348). Т. Ю. Табидзе.

Табидзе Тициан Юстиновнч (1895—1937) — выдающийся грузинскнй позт. Зиакомство Есенина с ннм состоплось осенью 1924 г. в Тифлисе. Тогда же Есенин встречается с позтами, о которых говорится в письме,— Паоло Яшвили (1896—1941), Георгнем Леонидзе (1899—1966), Валерьнном Гаприндашвили (1889—1944) и др. «Милому Тициану в зиак большой любви и дружбы. Сергей Есенин. Тифлис. Фев. 21/25»,— пишет позт на своей кннге «Страна Советскан» Т. Табидзе. О пребываннн Есенина в Грузии и встречах с ннм рассказывают в своих воспоминаниях Т. Ю. Табндзе, Н. А. Табидзе, Г. Н. Леонндзе (см.: Воспомннанин. С. 376—392).

№ 63 (с. 349). Н. Н. Накорякову.

1. *Накоряков* Николай Никандровнч (1883—1970) — писатель, издательский работник. Член коллегнн Госнздата, в то времн заведовал отделом художествеиной литературы.

2. По свидетельству позта В. Наседкина, замысел об альманахе возиикает у Есеиина в марте 1925 г. после возвращенин с Кавказа. Есеиин счнтал, что «Полнны» должны стать вехой современной литературы, с иекоторой ориентацией на деревню» (Воспоминанин. С 432)

3. Альманах не выходнл. На организацнонной стороне дела сказалсн, очевидно, отъезд Есенина в конце марта на Кавказ. Однако, по свидетельству Грузинова, «мысль о создании журиала до самой смерти не покидает Есенина». Осенью 1925 г. «он набрасывает проект первого номера журнала» (Воспоминанин. С. 284). Наконец, уезжан в декабре в Ленинград, он предполагает там «через Ионова устроить свой двухнедельный журиал» (Воспомннаиин. С. 439).

4. Накорнков не только распорядnлсн о прнеме первого номера к оплате гонорара, но и особо подчеркнул, что зто интересное предложеиие «можио и нужно держать в орбите вниманин»

№ 65 (с. 350). В Литературный отдел Госиздата.

Намерение издать Собраине стнхов и поэм возникает у Есеиина аначнтельно раньше. В 1924 г. Есении пытаетсн решить вопрос о подготовке Собраиия стихотворений в Госиздате (см. письма к Беииславской, с 345—346 иаст. тома). В июне 1925 г. он получает согласие Госиздата на выпуск трехтомного Собранин стихотворений. Собрание было подготовлено к печати при жизнн поэта.

№ 66 (с. 350) А М Горькому

С автографом письма, в свое время забытого и неизвестного в литературе, довелось ознакомиться еще в пятидесятые годы и тогда же впервые напечатать его. В те годы С. А. Толстая-Есенина рассказала, что когда летом 1925 г. Есенин узнал, что Горький интересуется его стихами, особенно последних лет, и хотел бы их иметь, он написал ему письмо. Как всегда, своих книг под рукой у Есенина не оказалось. Вскоре он уезжает на Кавкаа. Вернувшись в сентябре в Москву, решает дождаться выхода первых томов своего Собрания и послать их с письмом в Италию Горькому. В декабре 1925 г. Есенин умирает. В первые месяцы 1926 г. выходят I и II тома его Собрания. Эти два тома вместе с копией письма Есенина С. А. Толстая-Есенина отправляет летом 1926 г. в Италию Горькому.

1. Есенин встречается с Горьким в Берлине в мае 1922 г у А. Н. Толстого.

2. Есенин, очевидно, имеет в виду журн. «Красная новь» и «Прожектор», ответственным редактором которых был Воронский.

№ 67 (с. 351). Я. Е. Цейтлину.

Цейтлин (псевд. Цветов) Яков Евсеевич (1910—1977) — в 1925 г работал наборщиком в типографии в г. Николаеве. Первые стихи опубликовал в 1924 г. в газ. «Красный Николаев». В 1928 г. выпустил книгу стихов «Жажда». В дальнейшем журналист-очеркист в газетах «Комсомольская правда», «Социалистическое земледелие», «Известия» где выступает под псевдонимом «Цветов». В годы Отечественной войны — военный корреспондент «Правды». После войны выходят его книги «Повесть о Кирилле Орловском», «Выбор Ивана Демина» и роман «Птицы поют на рассвете», принесший известность автору.

О письме Есенина к Цейтлину (Цветову) впервые упоминает в своих воспоминаниях «Как жил Сергей Есенин» С. Виноградская в 1926 г (б-ка «Огонек»). Текст письма оставался неизвестным. В 1956 г. в архиве С. А. Толстой-Есениной я познакомился с этим письмом. Она рассказала его историю:

«Случилось так, что последним адресатом Есенина стал рабочий паренек из города Николаева, комсомолец, увлекающийся поэзией, пишущий стихи. Несколько своих стихотворений он прислал Сергею· просил совета, поддержки, помощи. Насколько я помню,— продолжала Софья Андреевна,— стихи молодого николаевского поэта понравились Сергею своей искренностью чувств. Он написал об этом их автору. Из Николаева вскоре пришло восторженное ответное письмо. Но... Есенину было не суждено его прочитать. Позднее след молодого поэта из Николаева затерялся. Неизвестно, где он находится и сегодня. Жив ли он?»

Прошло немало времени, прежде чем в 1962 г. (почти сорок лет спустя) мне удалось найти автограф письма Цейтлина (Цветова) и его стихов, которые он послал Есенину, а позднее, в начале 70-х годов, разыскать его самого.

1. 25 мая 1925 г. Цейтлин отправил Есенину свое письмо. Вот несколько отрывков из этого волнующего документа романтической эпохи двадцатых годов:

«Дорогой Сергей Есенин!

Я вот уже 2 года имею сильнейшее желание снестись с тобой...

...Провинция сейчас преклоняется перед тобой (в городе одна лишь «Радуница»), а поклонников... не сосчитать!.. Но это нам не мешает «болезненно» следить за тобой по журналам.

И вот, в корне изучив тебя, делаем везде о тебе доклады. А по ночам ходим и, как помешанные, пьем ведрами твои стихи!..

Сергей, ты — гениален!!! Ты единственный поэт, который заставил меня трепетать перед твоим именем...» Письмо заканчивается настойчивой просьбой — ответить и, главное, прислать свои книги.

2. Имеется в виду кто-то из работников редакции журн. «Прожектор», куда Цейтлин направил свои стихи и письмо Есенину.

3. Цейтлин послал четыре стихотворения: «Нагая», «Дума», «Ответ». Последнее — «Письмо брату», судя по письму Есенина, привлекло его внимание, особенно третья строфа:

Вспоминаю я тебе о старом:
(Для меня ты денег не жалей!)
Привези из города подарок
Краснoперых пару голубей...

(Цит. по автографу, хранящемуся в моем архиве.)

4. Есенин имеет в виду последнюю строку в следующей строфе стихотворения «Письмо брату»:

У меня за клуней голубятня.
Чужаки не ловятся на рожь...
И назло всем деревенским парням
Ты мне будешь помощником... хошь?..

Юрий Прокушев

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Из критической прозы

Из эпистолярной прозы

ЮНОШЕСКИЕ ПИСЬМА

ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСЕМ

ИЗ ПИСЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ

Есенин С. А.

Е82 Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. Стихотворения. Проза. Статьи. Письма/Сост. и коммент. Ю. Л. Прокушева.— М.: Сов. Россия: Современник, 1991.— 384 с.

В настоящий том включены стихотворения не вошедшие в основяое Собрание, проза поэта его статьи и письма

Е $\frac{4702010202-014}{М-105(03)91}$ подп. 91 Р2

ISBN 5 268 00099 – 3
ISBN 5 268 –01153 - 7 (т. 2)

Сергей Александрович
ЕСЕНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА
СТАТЬИ. ПИСЬМА

Редактор *А. А. Целищев*
Художественный редактор *Н. Д. Викторова*
Технический редактор *Г. О. Нефедова*
Корректоры *Л. В. Конкина, Л. М. Логунова, А. З. Лазуткина*

ИБ № 6294

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.03.91. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 17,12. Тираж 7 000 000 экз. (21-й завод 3 660 001 — 4 060 000 экз.). Заказ № 649. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. ЛХП-142.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства печати и массовой информации РСФСР. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН
2